

ВЛАДИМИР ГАНДЕЛЬСМАН ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС И ПРОЧАЯ МУЗЫКА



International

Literary

magazine

Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
И ПРОЧАЯ МУЗЫКА
(1975–2020)

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
И ПРОЧАЯ МУЗЫКА

(1975–2020)

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2024

УДК 821.161.1'06(73)-14

Г 19

СЕРІЯ «Библиотека “КРЕЩАТИКА”»
Заснована у 2023 році

Гандельсман В.

Г19 Школьный вальс и прочая музыка / В. Гандельсман —
Київ : Друкарський двір Олега Федорова, 2024 — 328 с.

ISBN 978-617-7955-61-9

В первой книге двухтомника Владимира Гандельсмана представлены стихи, написанные в основном в последней четверти XX века. О них неоднократно писал друг В. Г. поэт Валерий Черешня. В частности:

«Все помнят классический силлогизм: “Кай — человек. Человек — смертен. Значит, Кай смертен”. Несчастный Кай вынужден согласиться. Поэт не лучше и не хуже некоего Кая. Но для него смертность — гибель мира, который он рожден сказать, исчезновение зрения, которого прежде не было и потом не будет, — вечно новое событие, переживаемое в каждом стихе».

И в другом эссе: «Обычно нужен повод, чтобы по-настоящему почувствовать себя живым. Поводом может быть что угодно: дерево, задворки, снег. Поводом могут быть стихи. Для этого им нужно быть сродни этим деревьям, задворкам, снегу. И не мешать им сказаться, сколь бы изощренная ни понадобилась для этого форма».

УДК 821.161.1'06(73)-14

ISBN 978-617-8252-14-4 (серія БК)

ISBN 978-617-7955-61-9

ISBN 978-617-7955-62-6 Т. 1

© Гандельсман В., 2024

© Федоров О.М., видавець, Київ 2024

ИЗ ПЕРВЫХ ОПЫТОВ

Ребенок спит, подложив под щеку
руку, другой обняв
куклу, ему не снится совесть,
он глубоко прав.

Так глубоко, как на пустыре
снег, — ни фабрик вблизи,
ни черных фигур во дворе
по колено в грязи.

Снег на пустыре один,
как ребенок, спит,
он ослепительно состоит
из самого себя.

Я о тебе молюсь,
я за тебя боюсь.
Пока живем — живем,
пока вдвоем — вдвоем,
но как вместить обещанную грусть,
какое платье из нее сошьем?

Я не хочу смотреть
на государство-смерть,
и на его зверей,
и на его червей,
но как вместить обещанную твердь,
читатель Иоанновых страстей?

Но как тебя спасти,
когда нас нет почти,
и дар случайный жить
нас понуждают скрыть.
Я ничего не вижу впереди.
Как эту тьму кромешную вместить?

Дай только раз вдохну,
дай только жизнь одну, —
пока живем — живем,
пока вдвоем — вдвоем, —
дай только жизнь еще раз помяну.
Жить будем ли мы вновь, когда умрем?

Как ты нелюбишь, как зима черна,
как нелюбовь твоя непредставима,
о, все, чем жив — тобой, твоим, твоими,
на все твое душа обречена,
не дай любить кому-нибудь, как я
тебя, и вспоминать, как вспоминаю,
как ты нелюбишь, будто жизнь иная
нам предстоит, любимая моя...

* * *

...и потом одаривает втрое

Валерий Черешня

Бывали дни безмыслия, июль
на цыпочках заглядывал с балкона,
и проникал, чуть оживляя, тюль,
и к изголовью свет струил наклонно.
Бывали дни — не верил, что умру,
когда нас ночь на даче заставляла,
и сад сиял, и больше никому,
нигде и никогда не предстояла
не только ты, но эта полнота,
утишившая время до приметы.
Я и теперь не верю, хоть она
изнемогла, распавшись на предметы.
Я и теперь не верю, но слабей.
Скажи: волна уходит, оставляя
вспоминанья в линзах пузырей,
один пузырь с другим сопоставляя...
Но человек, склоненный над столом,
не слышит, как стучит металлолом
и мертвые клешни передвигает,
он времени волну одолевает,
и все его живое существо
втройне одарено одним мгновеньем:
июльским днем, бессмертным помышленьем
и точным воплощением его.

Я с поезда сошел, где он стоял
минуты три, и обогнул вокзал,
ряды деревьев, хилые заборы,
раскуривал пьянчужка слабый взгляд
и думал: у зверей хотя бы норы,
они в них забираются и спят.

Поселок был приземист, сух и гол,
виднелся белый камень в виде школ,
закрытых на ремонт, где пахнет краской
кошмарных парт, а дальше «Телеграф»
с рентгеновской мертвыней телеграфской,
застывшее «та-та» — его состав.

Еще спала дневная смута, брань,
пивной ларек пустел у красных бань,
как истукан в косой немного кепке,
и если люди не сошли с ума
в кривом краю, то как же они цепки,
попрятав свою психику в дома.

Никто меня из рук твоих не брал,
и трижды я тебя не целовал,
и что родней такого горизонта?
Другое дело — помнишь ли? — один,
тот, что писал «Epistulae ex Ponto»,
оплакивая вечный град Квирин,—

он трижды возвращался перед тем,
как в Скифию отправиться совсем,
и прочее... И солнце из тумана
всходило слишком быстро, и росло,
напоминая гнев Октавиана
и приближая черное число,

и прочее... Им вреден этот край.
Нам тоже не полезен, но — прощай.
— Во времени отныне и в пространстве,—
ты скажешь, — мы не встретимся с тобой..
Не зарекайся, холод этих странствий
не ведает ни мертвый, ни живой.

Проще распасться,
особенно в эти часы
стершихся граней,
в комнате темной упасть
проще, чем красться.
Странно, что жизнь
длится помимо желанья.
В этой связи —
что она? Только не страсть.

В красном графине
зеленая искра блеснет.
Непревзойденной
кожа твоя белизны,
разве что, иней
с нею сравним...
Прошлою ночью бездонной
видел поход
серых плащей вышины.

Ночью осенней
я вышел и лист раздавил,
помню, крутился
торс бесноватой реки,
помню, Евгений.
Я потерял,
я потерял тебя и простился
что было сил,
что было сил, вопреки.

Шум ли раздастся
о том, что упала во двор
льдина простая.
Я не могу говорить,
проще распасться,
чем ожидать,
что последовательность слепая
станет — собор,
ясная вывьется нить.

Так неужели
письмо от тебя — все же весть
будущей сцепки
звеньев, светивших душе,
или в пределе
комнаты, где
прошлого бледные слепки
все еще есть —
звенья маячат уже?

Я не пытаюсь
срастить их. Я знаю давно:
исповедь — это
то, что осталось среди
нескольких пауз.
Их и прочти.
Звенья окрепшего света
застят окно,
колко колеблют пути.

Состарившись в зеленом городке,
придешь на берег с зонтиком в руке,
сверкнет перед грозой тяжелый понт,
раскроешь над собой костлявый зонт,
и парус накренится вдалеке,
и трепыхнется плащ на рыбаке,
и тихо помутится горизонт.

Поди теперь собой распорядись,
когда так ощутима эта высь,
и песни одиночества смешны,
когда немые области слышны,
ты скажешь так: коль годы пронеслись —
прими непостижимо и примись
совсем с непостижимой стороны,

но чтоб я знала... Сделав кувырок,
клочок газеты тронет в городок,
и влажные подводы трав морских
расцепят йоды запахов своих,
и чиркнет красной искрой поплавок,
и повзывает к Господу гудок,
и в небесах утратится пустых.

* * *

Это игра, говорю тебе, карта, игра,
я выхожу, обогнув скандинавского тигра —
помнишь его очертанья? — в Норвежское море...
Что-то до этого... Войнова, крепость Петра,
желтые выше слоятся закатные титры,
тело тяжелое, физиология горя.

Я выхожу, различая заливы, моря,
лобзиком вырезан берег Европы капризный,
справа Гренландии опухоль, мертвая зона...
Что-то до этого... холод, канун сентября,
тонкие заморозки, тончайшие в жизни,
запах летучий серебряных трав у перрона.

Нас разделяет почти атлетический пласт —
сей океан — Б. добавил бы: сельдью известный...
Сбившись с пути, я твержу и твержу с середины:
что-то до этого... снег под подошвами? наст?
воздух зимы белотрубный, болезненно-честный?
лица прохожих?.. зимой выразительней спины.

.....

Если лететь, возноситься, прощаясь с землей,
телом наклонным, лицом, обращенным к белесым
в красную полосу кратким туманам вечерним,
то — на Крестовском, представь себе это зимой:
ангелы смерти и пара подметок над лесом,
все убывающая, как в сновидении скверном.

Где прошлое, в особенности то,
которого не помню, не уверен,
что я там жил, напяливал пальто,
подшитое убитым насмерть зверем,
и выходил в пространство... там — никто...

Но где уже случалась эта явь,
которой остановлен я сегодня:
пальто, и приоткрытый в бездну шкаф,
и нечто, что томится в преисподней,
себя своею памятью обстав?

И промельком — окно, белесый дым
над городом, где я всегда повинен
в ее слезах... о чем мы говорим?
зачем наш спор и муторен и длинен?
чего еще друг другу не простим?

Какая тяжесть в том, что не укрыть
забвением себя, и — тяжесть вдвое —
не помнить *что* ты помнишь, не любить
тех призраков, притянутых строкою,
которых ни изгнать, ни воплотить.

Из утра в утро черное валясь,
не помню кем я был, одним из вас,
я был провалом памяти у века.
Когда мой век работал на износ,
не помню кем я был, я службу нес
в разжалованном чине человека.

В глаза летела дьявольская сыпь,
был год Дракона, общий недосып,
от всех людей, единого их лика,
щемило сердце, — мертвенно-белы,
не люди к проходным своим брели,
но призраки театра Метерлинка.

В них гибла страсть, состарившись среди
корысти и насущного пути,
и, голосу другого неба вторя,
я о себе напомнить не умел
тому, кто шел, рассчитывал, умнел
на цыпочках второго ряда, в хоре.

И все звала удобная строфа:
что наша правда, истовость, слова,
и всходам сердца медленным, озимым,
как дотянуть до марта, если нам,
пока не поздно, тоже по домам,
по темным корпусам за магазином?

Уж я готов был следовать за ней,
и ночи становились все длинней,
и беспросветней дни, и жизнь короче,
но всякий раз, я помню, всякий раз
все более обязывали нас
декабрьские мерцающие ночи.

Я жил не в эпоху войны,
не в пору гонений неправых,
не в горькое время вины,
на личных настоенной травах.

От пыли полуденной сер,
в припадках то зла, то роптанья,
я жил, как замотанный зверь,
заботами о пропитанье.

И дни мои сбились в одно
пугливое серое стадо,
я с мертвою болью в окно
следил за живучестью сада.

И слово искало порог
ступить и исторгнуться вещью,
но горло могучие клещи
сжимали, и зверь становился жесток..

Уж лучше б я был недвижим
и слеп, чем запекшейся речью
сращенный с тоской человеческой
задуман настолько живым...

Без отечества по существу,
на одной из нелюбящих родин
оказавшись в значенье «живу»,
я дышу и тем самым свободен.

Я свободен, я делаю шаг,
проявление собственной воли,
зарождаюсь во мраке — во мрак
переходит, но высветясь, что ли.

Так вот в комнате фары спугнут
застоявшуюся перспективу —
удлиненные тени взбегут
по стене и сбегут торопливо.

И на стыке косых плоскостей
своевольным капризом движенья
ты пронизан до самых костей,
лишний раз изменив положенье.

Если заперты рыбы, прохожий,
подо льдом чернокровной зимы,
не сошлемся на промысел Божий —
мы виновны, что это не мы.

Не забудем холодные трубы
(после кубиков на ковре)
первых зим и цигейковой шубы
леденеющий ворс на дворе,

невозможную эту картину
чистоты, изумленья, тоски,
и ботинки, и вонь гуталина,
вечнорвущиеся шнурки.

Все могло повернуться иначе,
если б ты не на шутку продрог,
как упорный, косой и собачий
этот бег мостовой поперек,

и теперь, если ты не безумец,
у перил, на железном мосту,
ты останься без дома, без улиц,
без всего, я имею в виду, —

будет страшно и празднично как бы,
как на кухне в торжественный час,
где дышали зеркальные карпы,
шевелия металлический таз,

и, сочувствуя мерзнущей твари,
ты над этой страной воспари
полосой розовеющей гари,
кровоточащей раной зари.

Ты — лишь инстинкт переступанья,
инстинкт ступни,
услышавшей пересыпанье
песка и шорох
листвы в осенних коридорах,
где гаснут дни,

ты — только ритм преодоления
всех мер длины,
пульсация без направленья,
наклон походки,
зрачки, посаженные в лодки,
что так черны,

освобождение от шарфа,
от шляпы, блеск
волос, упавших, точно арфа,
меж пальцев, если
ты перед зеркалом и в кресле,
и слышен плеск

дождя, начавшегося с ходу,
чтоб жизнь в тепле
вдруг оттенила непогоду,
и вечер зябкий,
и женщину в намокшей шляпке —
там, в полумгле —

еще сильней, ты — согреванье
еды, питья,
со стороны — ты — небыванье
на этом свете,
так отрешенно смотрят дети
из забытья.

ШУМ ЗЕМЛИ

Из первой части

...коротенький обрывок рода.

А. Блок. Возмездие

Мальчик встанет, телом тонким потянувшись, мальчик
встанет, умалением свободы — поперек — сегодня станет,
а сквозящую наружу душу плачем остановят, а возьмут
обидой горло те, кто мальчика изловят,
подойдет к тетрадке мальчик и запрет в портфель тетрадку,
аккуратно съест яичко, мальчик съест яичко всмятку,
голубой белок, который приварился к скорлупе, соскребет
фамильной ложкой, затеряется в толпе,
он в автобус сядет львовский на большое колесо и покатится
на Невский в одинокое кино...

Вечерняя ворована сирень, все запахи затылочны и гулки,
за папиросною бумагой брезжит день, как бы рисунок
в «Малахитовой шкатулке»...

Так мальчик возвращается, дрожа, с букетом маме,
постаревшей на год, как жалко маму, как колотится душа,
как гости с хохотом на птицу подналягут...

Когда бы нюх звериного чутья мне щупал путь, блуждая
по Европе, то запах отыскался б не в укрепе, а в комнате
для стрижки и бритья:
картавый тип с повадками врача, орудуя машинкой
то выпускает в зеркало ухмылку, как скользкую рыбешку,
то, с плеча прицелившись и отведя бутылку,
сжимает грушу, дурно хохоча, —
и вот затылок холоден и странен, и мальчик освежен и
оболванен, —

иль в мастерской, где чинят обувь и на подметку ставят крест,
башмак тем самым обособив, его отправив под арест, —
там и накинется среди острий снующих игл, блестящих шил
дух кресел кожаных, подстил, подметок, разрывая ноздри,
а люд, чей говор-непотребник так аппетитен и бог весть
о чем, — напомнит про учебник, где о ремесленниках есть...

На противоположном берегу
реки, через которую грохочет —
крест-накрест — мост железнодорожный,
пасется стадо яркое с утра, —
так чертит грифель, смоченный слюной,
и, вытворяя брызги на бегу,
припляжная красавица хохочет,
за ней, смеясь, — на шее крестик ложный —
бежит хозяин пляжа, их игра
меня томит, за шахматной доской
два мальчика исследуют носы,
два гения в панамках от удара,
их бабушки в белье бледно-зеленом
с кульками из сегодняшних газет,
с кульками окровавленными вишен.
В кружении полуденной осы
приходит сон, в удушливости пара,
в депо, на паровозе раскаленном
сжимает машинист в руках обед.
Мне виден каждый жест и голос слышен,
я помню, кто что делает. Тогда,
уже тогда я был ничем не занят:
хоть слабых мира понимал легко я,
а сильные мной правили вполне,
ни тем ни этим не принадлежал.
Так только первобытная тверда
душа бывает — мир еще не ранит,
но проникает темные покои,
и лилия горит на самом дне
воспоминанья...

Когда, проснувшись, к тамбуру спеша,
проснувшись от качнувшего толчка,
на ранней остановке, через гарь
растопленного чайного бачка,
когда, чуть недонежившись, душа
еще хрупка, как юный государь,
когда мелькают ведра и кульки
торговок вишен, яблок или груш,
и проводник, свой китель доодев,
обходчику кричит благую чушь,
и солнце зажигает край реки,
на улице поселка, меж деревьев,
ты видишь: беспокойству далека,
вся пахнувшая сонным молоком,
высокая, в накинутом до пят,
медлительно, и тонко над плечом
лежит кувшин обнявшая рука,
когда картина, тронувшись назад,
и ты идешь растерянно в вагон,
от чуда все навеки потеряв,
где спят тела, покачиваясь в лад,
и скорость набирающий состав,
крутые яйца, курица, батон,
и любопытства равнодушный взгляд
соседа сверху...

...так осенью проехать мимо школы
своей, так под лопаткою укол, и
так очередь дрожит в медкабинет
эмалевый, так дни перед осмотром
с желтеющей листвой, с карминным кортом,
с тоской дистиллированной тех лет,

так пахнет, проступая из тумана,
сад осени больницей Эрисмана,
так гулко осыпается трамвай,
так розовых солдат плывет колонна,
как в ауре, в парах одеколона,
Патрокл, Агамемнон, Менелай,

так хочется запоем, жизнь приблизив,
все перечислить, смыслом не унизив,
так города избыточен размах
вернувшемуся с дачи, так хватает
он воздух из такси, и так не знает,
зачем он возвращается в слезах...

Этой женщины трудные очертанья,
есть фигура и некая угловатость...
Как единственно зренье, сестра, — это больше, чем радость —
это радость, и горе, и бережных сил испытанье.

Осень, женщина в створе дверей у стола,
над рукой голубая и дымчатая ваза,
под рукой леденящей клеенки четыре угла,

и, собой потрясенные, расположились тела —
их смертельная ясность, и осени рыжая фраза.

Как все замерло — как в ожиданьи письма,
не поддавшись восторгу с его раздраженной изнанкой,
поздравительный запах открыток, бинокль, валерьянка
в том шкафу, в стылой комнате, полной собраний чужого ума.

До свидания. На ослепительном фоне окна
я обмолвил тебя и подумал, топчась в коридоре:
если это похоже на что-нибудь — только лишь на
драматичность семьи, ее радость и горе.

медлит буксир на реке
стройка и дым вдалеке
осень на волоске
сердце болит в мотыльке

дом у реки ни огня
дверь приоткрыта в меня
там причитает родня
комнаты гул западня

вроде кладбища
кругом серый камень
голос лающий
и бегущий за облаками

и приводят к нему
умирать кто должен
к камню этому
до которого дожил

вдруг отца ведут
страх предстал глазам
закричал я тут
как будто умер сам

и по камню песок
белым бегом рябит
ни один предмет
ни о чем не говорит

только солнце в висок
жмет лучом своим
и бежит под ним
по камню песок

Из второй части

* * *

Он о бесплодности чувствовал, о пустоте,
тщетности полой, задетой движением жизни.
Как было сердцу в такой духоте, тесноте
клетки грудной не склониться к тупой укоризне,

как не уперлось оно в костяное ребро
в злых захолустьях, на мусорных ямах, в укромах
бедных. Ты скажешь: сквозное добро
сердце спасло. Но посмотришь, как бьют насекомых

малые дети, как давят подошвою их,
и усомнишься в его изначальности милой.
Есть равнодушное, зыбкое поле живых,
для пропитанья не знающих нежных усилий.

С жизнью слепых отношений — куда уж слепей! —
пасынка с отчимом: не примириаясь, коситься, —
отчима с пасынком: то ли заискивать в ней,
то ли, свыкаясь, угрюмо и медленно злиться, —

как избежал он? Отваром полынной травы
сердце лечил или к морю спускался прилежно
и тавтологию синей насквозь синевы
впитывал, как и оно, — равнодушно и нежно,

а возвращаясь, подолгу сидел, как старик,
горбясь над рукописью, чтоб угловатой
фразой скелетообразной поставить в тупик
мрачную суть, как бы взяв ее невиноватой?

Я его видел, он мертв был, скорее всего
мозг вещества его жизни, измучившись прежде
горечью мироустройства, иссохнув в надежде,
попросту больше не чувствовал ничего.

Куда теперь плыву, так долго шел к разгадке
предстоящего отплытья, открой окно, там что? —
Эдем? шеол? или следы кошачьего наитья, по снегу
уходящего в подвал, да скрип шагов, открой его пошире,
проветри, здесь покойник, он устал от смерти,
закупóренной в квартире, открой окно, не бойся, подойди,
я век своих тяжелые надгробья приподыму и гляну
исподлобья, открой, мне одиноко взаперти —

Ляжем, дверь приоткроем,
свет идет по косо́й,
веет горем, покоем
и песчаной косо́й,

это жизнь своим зовом
обращается к нам,
вея сонным Азовом
и травой пополам,

ты запомни, как долог
этот мыслящий миг,
что проник к нам за полог
и протяжно преник.

ВЕРНУТЬСЯ В ЭТОТ ГОРОД

Школьники. Весна

1

день солнечных томлений
со стружкой в луже голубой
ее в колечках утоплений
штанины школьников гурьбой

2

тонкошеих учениц гуськом
снега кружевным воротничком
вербы вдоль побегом из зверинца дымчато-пушным
синевой небесною ничком

3

в бумагу золотистую обернут
день как подарок развернуть мне долог
под линзою дымка древесный бормот
в земле размытой чайных роз осколок

4

вдруг четырехугольник
стены сплошь розовый без окон
в закатный глаз попавший школьник
мигает магниевый опыт

Спящий

1

в сон погружаясь крушение
полуутоплен дыханье
теплится в пене
и привыкает не стать в океане

вверх этажерка
склянок оркестр слепой
ржавые раковин жерла
рыб глупоокий покой

по небу пальчик
синему постучит
с той стороны кто-то плачет
с этой никто-то молчит

2

мальчик как мальчик в романе
выловит слово в бутылки
утро песчаное ранний
час среди лилий

это в пятнадцатом
время лепечет году
с лодочной станции
с тихим сачком голоного иду

водоросли заплетает река
уходит под мост
скорый свой набирает рост
издалека алека

3

и одеяло подтянет
сон запотевший в бинокле
резкие брызги купаний
в майках продрогли

веяньем бабочки чахлой
вдруг расширение вселенной
старости дряхлой
желтые зубы и пена

шарит рукой как слепая
сколько бессмысленных пауз
в хвойном лесу засыпая
в храпе казарм просыпаясь

4

сахаром кормят в чулане
черной смородой
плачет худыми плечами
горе воюют народы

выколет точку пространства
прыглый кузнечик
кофточку трогать несчастный
юноша в мире не вечен

эвакуации Невель
город когда-то невесты
скверно рифмуется синее небо
с тем что окрест

5

в ступе толченые зерна
мака и ветер веранды
звезды двора над уборной
голодно гланды

писем воздушные змеи
с Севера в Джалалабад
стыдной в разлуке измены
хлеб черноват

время размокнет размякнет
хоть не простить так забыть
ложечка звякнет
дай мне попить

6

ребра трещат переборок
солью глаза заливает
короток век твой и горек
чайка летает

разве в отсутствии Бога
смерть не роднит
жизнь-недотрога
теплится слабая спит

ты ведь бессмысленна сроду
ласковая нелепа
как посмотреть в непогоду
правда ли все это с неба

Из стихов памяти отца

1

Это ты стоишь в прихожей с клюкой —
воспаленные веки, полуоткрытый рот,
мы с тобой не увидимся ни в какой
больше комнате, мама за мной запрет,

это ты в семейных стоишь трусах,
отражаясь в зеркале тройного трюмо,
«... и прижать тебя к сердцу» — уже в слезах
ты закончишь беспомощное мне письмо,

это я в навьюченном солнцем стою
городке ослином и пью вино,
это ты, вцепившись в кровать свою,
жизнь додышиваешь, идя на дно,

предпоследняя — вот она — в черед
явей, нам изменяющих без конца, —
боль, последней же нет нигде,
а точнее: нет у нее лица,

не имеющая в зеркалах
отраженья, страшна и завешивают ее,
это ты стоишь, на моих глазах
превращаясь в незыблемое небытие,

не собою утрата так тяжела, —
обретение, наоборот, она яви есть
в большей мере, чем явь до нее была,
умирает тело, но дышит весть.

2

На скорбном родины развале
январь я этот пробродил,
меня в квартиры люди звали,
и призрак душу бередил,

не зря кругом была разрыта
земля, и, кутая озноб,
как у разбитого корыта,
сидел над ямой землекоп,

сновали голуби помоек,
день припухал как на дрожжах,
и воспаленный свет попоек
горел на нижних этажах,

я там увидел сон плаксивый:
лет семь ребенку, смерть отца...
Ты, откупившаяся ксивой,
душа без признаков лица,

оплакавшая в срочной дреме
сегодняшнее горе, ты —
ты исхитрилась в мертвом доме
и мертвая — вернуть черты

свои, забившись в угол сонный,
ползущая на свет, на звук
почти уже потусторонний, —
ты, перевспыхнувшая вдруг.

Памяти Лены Соколовой

1

Мел сыпается с досок,
тряпок, весенний,
треугольниками хеопсы
залежей, где бассейны,

угольные буравят мухи,
в море впадают вилы
Нила, Некрасов муки
отслоил для Ненилы,

слойки и перочистки,
читка пиесы в лицах,
актовый зал отчизны,
Софья и Лиза,

я берегами Стикса
Лену ищу в тоске,
мальчики ждут от икса
играка на доске,

по небу снимки
легких летят легко,
розовые, как у немки
голубое трико,

в ту строку, где «весенний»,
тихо просится «день»,
тень проносится тени
Лены, тень ее, тень.

2

Вот еще один
март солнечный
не воплощен, иди
сюда, со школы начни,

с коридора начни,
как на колено берут
портфель они,
девочки, и Лена не тут

уже, замочки блестят
и резинки видны,
чуть в проталинах сад
прописан весны

вдали, иди сюда,
где сплошь мокрая
земля и с чавканьем стиснуты
калош края,

ближе подойди,
по стеклу в грязи
битому проведи
и цветок спаси,

помня, с белых лиц
двух учительниц
как слетал шепотком
с траурным ободком

мир, пылящийся
в груди сумерек,
там, где плащ, вися,
умер, сник,

утомясь, томясь,
иди себе прочь,
небом пряных масс
наплывает ночь.

Приближение первого
сентября, что ли, нервное,
запах крашенных парт,
бледность контурных карт,

ржавых астр букет,
холодок календарных
дат, круглеющий след
на фуражке кокарды,

с задней парты смешок,
и трескучая млечность
ламп дневных, и шажок, и шажок,
словно с тапочками мешок
тянешь в вечность.

О, ядро с ключицы
в воздух послано сентябрю,
долго летит, лучится,
в памяти застревает зря,

катится, пав на землю,
сантиметра три,
тем ли я занят, тем ли
занят я, — тускло, ядро, гори,

трусички-абажуры,
девичьи позвонки гуськом
тянутся с физкультуры
в неотразимом огне таком,

и спокойная пропасть
обрывается, мертво стоя
на своем, — точно пропись
с оглянувшимся «я».

* * *

Вестибюля я школьного
окончания в пору уроков,
вроде взрыва стекольного,
световых его пыли потоков,
вроде с улицы вольного,

или галстуком розовым,
проутюженным, веянье шелка,
и к учебникам розданным
обоняние тянется долго,
все продернуто воздухом,

пилкой лобзика ломкою
контур крейсера, пыльные взоры,
и, любовное комкая,
вся на северной встрече Авроры
кровь пульсирует громкая,

время тусклое лампочки
в раздевалке, тупых замираний,
и мешочка на ляпочке,
и с родительских в страхе собраний
ожидания мамочки,

тонкокожей телесности,
шеи ватой обмотанной свинки,
астролябий на местности,
и рифленых чулок на резинке,
и кромешной безвестности,

растворяйся, ранимая,
погружайся в тоске корабельной,
дом, и, неуяснимая,
под бессмертный мотив колыбельной,
радость, спи и усни моя.

Тихим временем мать пролетает,
стала скаредна, просит: верни,
наспех серые дыры латает,
да не брал я, не трогал, ни-ни,

вот я, сын твой, и здесь твои дщери,
инженеры их полумужья,
штукатурные трещины, щели,
я ни вилки не брал, ни ножа,

снится дверь, приоткрытая вором,
то ли сонного слуха слои,
то ли мать-воевода дозором
окликает владенья свои,

штопка пяток, на локти заплатки,
антресоли чулок барахла,
в боевом с этажерки порядке
снятся строем слоны мал-мала,

ничего не разграблено, видишь,
бьет хрусталь inferнальная дрожь, —
пятась, за полночь из дому выйдешь
и уходишь, пока не уйдешь.

Бабушка видит мужа

Дня мерцанье белое в обводах рам,
белое мерцанье из окна сквозит,
никого на дереве, лица ни там
нет, ни там, прищеплена, весна висит,

с бельевых веревок перекрещенных,
номерком нашитым бегло мечена,
не душа живая — это вещь на них
рукавами сохнущими мечется,

о каком Давиде — указательным
тычешь в створ весны — тебе бормочется,
никого под деревом, но, знать, больным
видится, как хочется, как хочется,

что-то вроде пленки кинопорванной,
где идет война, эвакуация,
беженцы в стога ныряют, в створ видна
в воздухе висящая акация,

с крестиков, гудящих в небе, ненависть —
кладбище летит горизонтальное —
валится, и дымом всходит века весть,
убегает в даль зигзагом, в даль, снуя,

как овец, гонимых в преисподнюю,
смерть пасет и гнет их в три погибели,
Боже, человек живой бесплоднее
мертвой птицы, усыпленной рыбы ли,

ты читай на дереве псалмы свои,
в них ночей тоску твою и дней тая,
пусть они баючат, ветви вислые,
путаницу смертную, по ней-то я

и служу на кухне поминальщиком,
мальчик и меняльщик глянца марок я
там, стекает по моим печаль щекам,
и в окне трепещет что-то яркое.

Ирине Служевской

Говорю: вращенье в барабанах
ворохов недельного белья,
тихие кварталы банных
вечеров, испарина жилья,

говорю: в цирюльнях отрезные
головы на вынос, простыней
полыханье, на закат сквозные
улицы уходят всё темней,

говорю: земли сырые комья
и небес встречаются в реке,
там, за семафором... ни о ком я,
ни о чем... о маленьком мирке.

О богах домашних, недалеких,
горизонт Психея не берёт
с перепугу, умещаясь в легких,
и плодов фруктовых полон рот.

Говорю: вот это зеленная,
это бакалейная, где нам,
в том числе и умершим, земная
пища отпускается на грамм...

Пострашнеем — и тогда постигнем,
что иные не живут нигде
так давно, что более — «пусти к ним!» —
и не просятся, — к земле, к воде,

к виноватым превосходствам жизни,
тем, где копошится Божья тварь
в табака душистой горловизне...
Но Эдип еще ребенок. Царь.

Вернуться в этот город? Нет, избавь.
Застиранный, он сел, и я не влезу
рукою в протекающий рукав.
Не выйдет ни по росту, ни по весу.

Ни по душе. Я помню, как Полиб
бежит за сопляком, как тот: «Подкидыш!» —
кричит мне, исторгающему всхлип...
Ты подтвердишь родство? И справку выдашь?

А если оборванец прав? Оставь
мне временный, но дом, способность видеть
не помня ничего, и реку вплавь
позволь не брать, чтоб милых не обидеть.

Полиба нет? Мать потеряла речь?
Я знаю, но тебя не слышу, нимфу...
Хоть неоткуда более извлечь
свидетелей, — не подойду к Коринфу.

Над засушливым учебником
географии ли, биологии,
где снопы везут, где прививают
пестики к тычинкам,
и заочница идет с вечерником,
всё стада, всё волоокие
девушки на свете прибывают,
тянутся карандаши к точилкам.

У семян дыханье слабое,
набухание и прорастание,
пишет, машет ли тебе полярник
шапкою-ушанкой,
иль Белову окружают, лапая,
гроздья дышат мироздания,
устья, русла, стебли, и кустарник
за окном акации с Каштанкой.

Луковицы мякоть едкую,
микроскопу вверив неослабную
любопытность, потя телом,
с каплею раствора
йода, — рассмотри, дыша соседкою,
ты ли рисовал похабную
и надписывал картинку мелом,
и в прозекторской дрожал позора.

Истомленное растение
на тарелке с трещиной и лужицей,
корни стержневые у фасоли,
семядоли, почки,
совести в потемках угрызения,
что я говорила, слушаться
надо, белые пылают боли,
отмирая в час по чайной строчке.

Все равно, не я, а он это,
отлетает от меня двойник это,
на него смотри, пока укроюсь
с головой и сгину,
ты какую глупостью так тронута
или чем, душа, проникнута,
лучше помоги, а то расстроюсь,
я не виноват ни в чем, пусти, ну..

Квартира окнами на Кировский.
Февраль чуть обморочный, вирусный.
Двор сумрачный. Я скоро вырасту.

За дверью черной, дерматиновой
тоскливой лентой серпантинной
петляют звуки сонатины той.

Уроки сонные эстетики.
Там разбирают ноты Гедике.
Я «зажимал» ее на «Медике».

Смотри: бутылочный и уличный
ложится свет (парок из булочной)
на свитер с бахромой сосулечной.

Смотри: у батареи огненной,
еще по шляпку в жизнь не вогнанный.
Смотри: заглядываю в окна к ней.

Не вогнанный еще, не вынутый,
с той, не сливаясь, с той невинно стой.
О, Иванов, во всем продвинутый.

О, скуки нежное святилище,
лекальный сон пюпитра, пыль еще
в изгибах, полдень музучилища.

Или еще пыльнее: техникум.
За горло взятых тем, но тех, никем
не взятых лучше, неврастеником

отчасти, взятых тем вершителем —
приди: вот женщина с сожителем.
На вешалке фуражка с кителем.

С кем-то я по каменным ступеням,
ровно семь, открыта дверь, иду,
постепенно проступает пенъем
радио контральтным, на свету

мать рояль безмолвно протирает,
в комнату проходит некий тот,
но в другую, рук не простирает
мать ко мне, рояль не видя трет,

тот на пишмашинке — строчка-зуммер —
за стеною буквится в углу,
жив отец, не помню, или умер,
я хочу спросить, но не могу,

перед праздником паркет начищен,
кубометры комнаты горят
воздухом вины, как вдруг насыщен
он отсутствием всех и всего подряд,

и бесхозный голос, эта мнимость,
то есть — исчезающий вдвойне,
дрогнув паутинкой на стене,
оставляет чистую вместимость.

Я вотру декабрьский воздух в кожу,
приучая зрение к сараю,
и с подбоем розовым калошу
в мраморном сугробе потеряю.

Всё короче дни, всё ночи дольше,
неба край над фабрикой неровный;
хочешь, я сейчас взволнуюсь больше,
чем всегда, осознанней, верховней?

Заслезит глаза груженный светом
бокс больничный и в мозгу застрянет,
мамочкину шляпку сдует ветром,
и она летящей шляпкой станет,

выйду к леденеющему скату
и в ночи увижу дальнозоркой:
медсестра пюре несет в палату
и треску с поджаристой коркой,

сладковато-бледный вкус компота
с грушей, виноградом, черносливом,
если хочешь, — слабость, бисер пота
полднем неопрятным и сонливым,

голубиный гул, вороний окрик,
глухо за окном идет газета;
если хочешь, спи, смотри на коврик
с городом, где кончится все это.

Разворачивание завтрака

Я завтрак разверну
между вторым и третьим
в метафору, задев струну,
от парты тянущуюся к соцветьям

на подоконнике, пахнёт
паштетом шпротным
иль докторской (я вспомню гнет
учебы с ужасом животным:

куриный почерк и нажим,
перо раздваивается и капля
сбегает в пропись, — недвижим,
сидишь, — не так ли

и ты корпел, и ручку грыз,
и в горле комкалась обида,
товарищ капсюлей и гильз
и друг карбида?),

я разверну, пока второй урок
не слился с третьим,
свой завтрак, рябь газетных строк
гагаринским дохнёт столетьем,

кубинским кризисом своим
пугнет, и в раме,
дымком из бойлерной кроим,
зажжется Моцарт в птичьем гаме.

(Куда все это делось? — вот
развертыванья всех метафор
моих и памяти испод,
и погреб амфор.

Я вижу маму, как мне жаль
ее (хоть болен я), и вдруг, в размерах
уменьшившись, уходит вдаль
и, крошечная, в шевеленьях серых,

сидит в углу, тиха.
Тогда-то, прихватив впервые,
как рвущейся страницы шороха,
шепнуло время мне слова кривые.)

Теперь давай доразверни
свой завтрак. Парта.
Дневного света трубчатые дни
в апреле марта.

НОВЫЕ РИФМЫ

Тридцать первого утром
в комнате паркета
декабря проснуться всем нутром
и увидеть, как сверкает ярко та

елочная, увидеть
сквозь еще полумрак теней,
о, пижаму фланелевую надеть,
подоконник растений

с тянущимся сквозь побелку
рамы сквозняком зимы,
радоваться позже взбитому белку,
звуку с кухни, запаху невыразимо,

гарь побелки между рам пою,
невысокую арену света,
и волной бегущей голубою
пустоту преобладанья снега,

я газетой пальцы оберну
ног от холода в коньках,
иней матовости достоверный,
острые порезы лезвий тонких,

о, полуденные дня длинноты,
ноты, ноты, воробьи,
реостат воздушной темноты,
позолоты на ветвях междуусобье,

канители, серебристого дождя,
серпантинные спирали,
птиц бумажные на елке тождества
грусти в будущей дали,

этой оптики выпад —
из реального в точку
засмотреться и с головы до пят
улетучиться дурачку,

лучше этого исчезновенья
в комнате декабря —
только возвращенья из сегодня дня,
из сегодня-распри —

после жизни толчеи
с совестью или виной овечьей —
к запаху погасших ночью
бенгальских свечей,

только возвращенья, лучше их
медленности ничего нет,
тридцать первого проснуться, в шейных
позвонках гирлянды капли света.

Кириллу Кобрину

О, по мне она
тем и непостижима,
жизнь вспомненная,
что прекрасна, там тише мы,

лучше себя, подлинность
возвращена сторицей,
засумерничает леность,
зеркало на себя засмотрится.

Ты прав, тот приёмник,
в нем поет Синатра,
я тоже к нему приник,
к шуршанью его нутра,

это витание
в пустотах квартиры,
индикатора точки таянье,
точка, тире, точка, тире.

Я тоже слоняюсь из полусна
в полуявь, как ты,
от *Улицы младшего сына*
до *Четвертой высоты*.

Или заглядываю в ящик:
марки (венгерские?) (спорт?),
и навсегда старьевщик
из *Судьбы барабанщика*, — вот он,

осенью, давай, давай, золотись,
медью бренчи,
в пух и прах с дерева разлетись,
«Старье берем!» прокричи.

В собственные ясли
тычься всем потóm.
Смерть безобразна, если
будет ее не вспомнить потóm.

Накануне

Вдруг такая сожмет сердце,
такая сердце сожмет, гремя,
поезд, под железным стоишь, в торце
улицы, слышишь, как время

идет, скоро, скоро уже холодно,
будет молчать хорошо,
под ногами первое легло дно,
первая под ногами пороша,

и как будто мира все лучи, все
в точке жизни моей, не найдя,
собрались, не найдя меня, чище
не бывает высвеченного изъятья,

и пора заводить стороннюю
песню радости, витрин Рождества,
и билетик проездной, роняя
по пути перчатку детства,

доставать, вон туда идти, мимо
свай, а из перчатки пусть,
сдутой ветром, потерянной, как письмо, —
пульс вобравший, прорастает куст.

Шахматный этюд

Шахмат в виде книжки
пластмассовые прорези,
по бокам для съеденных фигур стежки
столбиком, резные ферзи,

пешки-головастики, ладьи,
в шлемах лаковых слоны,
я пожертвую собою ради
желтого турнира в клубе — лбы наклонны

над доской — Чигорина,
в клубе, на Желябова, —
гóря, гóря — на! много гóря — на! —
как уйти от продолженья лобового? —

инженеры в желтом
свете с книжечками шахмат,
о, просчитывают варианты, шел в том
снег году, пар у дверей лохмат,

шел в том, говорю, году
снег и кони Аничковы
Четырех коней
помнили дебют и рвались на свободу
от своих корней всё непокорней,

две ростральные зажгли
факелы ладьи, Екатерины
ферзь шел над своею свитой, в тигле
фонаря зимы сотворены —

белые кружились в черном,
инженер спешил домой,
в одиночестве стоял ночном
голый на доске король Дворцовой,

жертва неоправданна была,
или все сложилось, как та книжка,
где фигуры на ночь улеглись, где их прибило
намертво друг к другу, нежно,

и никто не в проигрыше, разве
ты не замирал в Таврическом саду,
в лужах стоя, Лужин, где развеян
и растаян прах зимы, тебя зовут, иду, иду.

Театр

Свет убывает, в темноте
поднимут занавес,
дохнёт со сцены — я секунды те, —
сырым холстом, прохладой, — о, я помню весь.

Макарова: «Светает.. Ах!» —
и пухленько бежит к часам, — «седьмой,
осьмой, девятый», и ленивый вздох
Дорониной, дородной ведьмы,

в кулисах, дышит и вздымает грудь.
Их простодушное притворство,
их обезьянничанье. Взять бы в прутья
створ сцены, створ

вдруг освещен, театр, театр,
от слова «бельэтаж» идет сиянье,
вращающийся круг, к вам Александр
Андреич Юрский, на Фонтанке таянье

и синеватый и служебный свет,
экзаменационный воздух.
Где ж лучше? Где нас нет.
Нас двух автобус двадцать пятый вез, о, вез двух,

мы в темном уголке, вы помните? вздрогнём
у батарей в парадной,
когда проезжих фар окатит нас огнем
и перспективою обратной.

Гонись за временем, гонись,
дверь скрипнет, ветерок скользнет, и
за ним Лавров с бумагами-с,
и фиолетовые фортепьяно с флейтой ноты

захлопнуты. Его ли предпочтешь на выпускном балу,
созвездье ли манёвров и мазурки?

Театр, о, монологи с пылу,
бинокли, жестяные номерки,

Стржельчик жив еще, внутри фамильи
своей весь в мыле проскоча,
бежит ли вдоль Фонтанки, «нон лашьяр ми...» ли
поет, театр, сверкают очи,

он пьян, он диссидент, вон, вон
из Ленинграда, в Ленинграде
спектакль закончен, мост безумный разведен.
Вы раде?

Я призван этот клад зарыть,
точнее — молвить слово
во имя слова: ах, что станут говорить
Карнович-Валуа и Призван-Соколова?¹

¹ В стихотворении упоминаются фамилии актеров, игравших в знаменитом «Горе от ума» Г. А. Товстоногова; цитаты, данные в основном без кавычек, соответствуют грибоедовской орфографии.

Гольдберг. Вариации

1. 1955 год

Гольдберг, Гольдберг,
гололед
в Ленинграде, колкий — сколь бег
на коньках хорош! народ —
лю-ли, лю-ли, ла-ли, ла-ли —
валит, колкий снег, вперед.

Гольдберг мимо инженерит
всех решеток, марш побед,
пара пяток, двери пара,
фары, фонари, нефрит
улиц хвойного базара,
парапет.

Блеск витрины, коньяки леском
и ликеры, зырк, и сверк, и зырк,
апельсины в Елисеевском
покупает Гольдберг, Гольдберг —
будет жизни цирк
вскачь и впрок.

К животу он прижимает куль
и летит, дугою выгнув нос,
а двуколка скул,
а на повороте вынос,
Гольдберг, коверкот, каракуль,
коверкот, каракуль, драп.

Сколько кувырков и сколько
жизни тем, кому легка.
Пусть в прихожей Гольдберг — колкий
тает снег — споткнется-ка:
катятся цитрусовые из кулька,
Гольдберг смеется, смерть далека.

2. Отпуск

Лимана срезанный лимон.
Зеленоватый блеск.
На грязях.
Евпаторийское (евреи, парит, сонно).
Всем животом налег на берег, вес к
песку и с легкою ленцой во фразах.

(А Фрида, Гольдберг,
Фрида в тех тенях, —
за ставнями твоя сестра с кухаркой.
Час, каплющий с часов настенных,
как масло, медленный и жаркий.
Чад, шкварки.)

Вдруг запоет из Кальмана — платочек
в четыре узелка на голове —
«частица чёрта в нас»,
примёт проточных
мир, ящерица — чуть левой
фотомгновения — зажглась.

Пульсирующая на виске
извилистою жилкой мира —
вот, Гольдберг, вот —
на камне ящерица, высверк, брень пунктира.
Встал и спугнул, в полупеске
полуживот.

(А Любка, Гольдберг,
а кухарка Любка —
смех однозуб,
плач — кулачок в глазу, о, Тот, Кто в хлюпко-
ее -придурковатую роль вверг,
Тот в нежности Своей не скуп.)

Разнообразие: что ни особь,
то — дивная! Он — с полотенцем полдня
через плечо — идет домой, он, россыпь
теней листвы вбирая
и ватой сахарной рот полня, —
в аллеях рая.

3. Шахматная

Он сгоняет партишку сейчас
с мной, ребенком,
он сгоняет партишку, лучась
хитрым светом, косясь и лукавясь,
Смейся, смейся, паяц, — он поет, в его тонком
столько голосе каверз.

Он замыслил мне вилку, и он
затаится,
и немедленно выпрыгнет конь
из-за чьей-то спины со угрозой,
Шах с потерей ладьи, — восклицает, двоится
мир и виден сквозь слезы.

Гольдберг, что бы тебе в поддавки
не сыграть бы,
нет, удавки готовишь, зевки
не прощаешь, о, Гольдберг коварист,
Заживет, заживет, — запекает, — *до свадьбы*,
он и в ариях арист.

Он артист исключительных сил,
он свободен,
а с подтяжками брюки носил,
а пощелкивал ими, большие
заложив свои пальцы за них, многоходен,
Гольдберг, *Санта Лючия!*

4. День рождения

Но булочки на противне,
но в чудо-печке,
но с дырочками по бокам,
сегодня будет в красном, Гольдберг, рот вине,
на пироге задует свечки,
взбивалкою взобьешь белок белкám.

Тем временем я с мамою
из дома выйду
и — на троллейбус номер шесть,
и душу, Гольдберг, всполошит зима мою,
такая огненная с виду
и вместе черная. Я, Гольдберг, есть.

Я знаю кексы в формочках,
мой бог, с изюмом,
раскатанного теста пласт,
проветриванье кухни знаю, в форточках
спешащие с нежнейшим шумом
подошвы, приминающие наст.

На площади Труда сойти,
потом две арки,
прихожей знаю тесноту,
туда я посвечу, а ты сюда свети,
Какие гости! где подарки?
Морозец! ну-ка, щечку ту и ту!

А вот и вся твоя семья,
ты посередке, обе с краю.
Всё есть, всё во главе с тобой.
А кто сыграет нам сегодня, Гольдберг? — я,
сегодня я как раз сыграю,
а ты куплеты Курочкина пой.

5. Пятница

По пятницам, — а жизнь ушла
на это ожиданье пятниц
(не так ли, дядька мой неитальянец?) —
от будней маленьких распятыц, —
ты во Дворец культуры от угла
стремишь свой танец.

Какой проход! В душе какой
(на предвкушенье чудной жизни —
не так ли, родственник шумнобеспечный? —
жизнь и ушла в чужой отчизне,
в той, где бывают девушки с киркой)
пожар сердечный!

Участник нынче монтажа
по Гоголю ты Николаю.
«Вишь ты, — сказал один другому...» Слышу.
И, помню, перед тем гуляю
с тобою, за руку тебя держа.
Ты, Гольдберг, — свыше.

«Доедет, — слышу хохот твой, —
то колесо, если б случилось,
в Москву...» О, этим текстом италийским
как пятница твоя лучилась,
всходя софитами над головой,
на радость близким!

Премьера. Занавес. Цветы.
Жизнь просвистав почти в артистах,
о спи, безгрёзно спи, зарыт талантец
хоть небольшой в пределах льдистых,
но столь же истинный, сколь, дядька, ты
неитальянец.

ЦПКиО

Алёне и Льву Рейтблатам

ЦПКиО, втоскуюсь в звук, в цепочку —
кто — Кио? Куни? — крутят диски цифр —
в цепочку звука, в крошечную почву
консервной рыболовства банки «сайр»

(мерещь себя, черемуха, впотьмах,
сирень, дворы собой переслади:
жизнь — это Бог, в растительных сетях
запутавшийся, к смерти по пути), —

перемноженье шестизначных гидр,
в уме, в своем уме, о, на открытом,
о, воздухе, о, лабиринты игр,
о, фонари Крестовского над Критом,

центральный парк, овчарки сильных лап
опаловые полукружья,
и небу над Невой преподнесенный залп
букета фейерверка из оружия,

паленым пороха пахнёт хвостом,
все рыбаки всех корюшек, все лески,
дохнёт вода газетой, под мостом
меняя шрифт и медля в тяжком блеске,

и вновь гигантские перенесут шаги
на островá колес прозрачных обозренья,
и вот на воинства бегущих крон мешки
набросит ночь, и сон-столпотворенье

завертит диски, и на них — циклопа о
горящем глазе — бросит фокусника детства,
гаси арены циркульной соседство
и на цепочку звук замкни: ЦПКиО.

Футбол

Комнаты координат протяженье.
Батарей зимой горяча.
Рябовато-голубое притяженье.
Справа по флангу идет Гарринча.

Наши микрофоны установлены.
Маракана, где ты, в Рио?
Спит отец в ковер лицом, и волны
времени его несут незримо.

Мяч выбрасывают из-за боковой.
Корнер. Почему ты *корнер*?
Бисер лиц трибуною-подковой
нависает. Шорох смерти сер.

Стадион-гнездо какое свили,
ухо шума! Вот они, стихи,
где на теплом счастьеце нас провели,
сладком звуке: *метревели-месхи!*

Но за это протяжение ни шагу.
Только здесь твой лексикон.
Так прислушивайся к шарку,
пробивай свободный, будь изыскан.

Кто по коридору ходит, щелчком
зажигает электричество и вещи?
*Весь живешь, не станешь целиком
тоже, и тогда слова ищи-свищи.*

На одном финте, но от опеки
отрывается Гарринча к лицевой,
и подача на штрафную, мяч навеки
зависает — спит и видит — над травой.

Косноязычная баллада

Я этим текстом выйду на угол,
потом пойду вдали по улице, —
так я отвечу на тоски укол,
но ничего не отразится на моем лице.

Со временем ведь время выветрит
меня, а текст еще уставится
на небо, и слезинки вытрет вид
сырой, и в яркости пребудет виться.

Он остановится у рыбного,
где краб карабкает аквариум
с повязкой на клешне, и на него
похожий клерк в другом окне угрюм.

А дальше нищий, или лучше — ком
тряпья, спит на земле, ничем храним,
новорождённым спит покойником,
и оторопь листвы над ним.

Жизнь, все забыв, уходит заживо
на то, чтобы себя поддерживать,
и только сна закладка замшево
сухую «смерть» велит затверживать.

Прощай, мой текст, мне спать положено,
постелено, а ты давай иди
и с голубями чуть поклюй пшено,
живи, меня освободи.

Полиграфмаш

Завод «Полиграфмаш», циклопий
твой страшный, полифем, твой глаз
горит, твой циферблат средь копей
горит зимы.

Я в проходной, я предъявляю пропуск
и, через турникет валясь,
вдыхаю ночь и гарь — бедро, лязг, —
валясь впотьмы.

Вот сумрачный народ тулупий
со мной бок о бок, маслянист
растоптанный поодаль вкупе
с тавотом снег,
цехов сцепления и вагонеток,
лежит сталелитейный лист,
и синим сварка взглядом — огонь, ток, —
окинет брег.

Слесарный, фрезерный, токарный,
ты заусенчат и шершав,
завод «Полиграфмаш», — угарный
состав да хворь —
посадки с допусками — словаря, — вот,
смотри, как беспробудно ржав,
сжав кулачки, сверлом буравит,
исчадые горь.

Спивайся, полифем, суспензий
с лихвой, и масел, и олиф,
резцом я выжгу глаз твой пёсий,
то желтый, то
гноино-зеленый, пей, резец заточен,
он победитовый, пей, скиф.
Людоубийца, ты непрочен.
Я есть Никто.

Завод «Полиграфмаш», сквозь стены
непроходимые, когда
под трубный окончанья смены
сирены вой
ты лыко не вязал спьяна, незрячий,
я выводил стихов стада,
вцепившись в слов испод горячий
и корневой.

По Кировскому

Свидетель воздуха я затемнений
различной степени, особенно
когда изрядна морось в городе камней.
И вдруг «ко мне!» услышишь, — незабвенно

косым она прыжком — с хозяином.
«Всё на круги...» — неправда мудрости.
Ведь что ни миг — то в освещении *ином*.
И в этом жёсточь совершенной грусти.

Дворы, дворы. Куда ни глянь — дворы.
Выходишь за полночь, — иди, тебя
ждут разбегающиеся раздоры
над головой лиловых облаков, рябя.

В кустах глазá бутылочки привиделись,
склянь чеховской, разбитой, колкой.
Какой счастливой, жизнь, ты выдалась, —
столь, сколь (глянь-склянь) недолгой.

С последней точностью внесет поправки
пусть память, выплески домов распознаны
в документальной ленте Карповки,
отсняты отсветы и тени дна распознаны.

То увеличиваясь тенью в росте,
то со стены себе ложишься под ноги, —
проход непререкаем в достоверности
своей, небытие немислимо, на ветках боги.

ДОЛГОТА ДНЯ

Дай бессмысленного слова нежного,
свежего, как ветвь с надломом,
связка жил древесных неизбежная
в воздухе дрожит бездомном.
Из двоих привязанность
сохранить последнему страшней,
ясный ужас ветви, темносказанность
сил, еще пульсирующих в ней.

Я посвящу тебе лестниц волчки,
я посвечу тебе там,
сдунуло рукопись ветром, клочки
с дерева летят по пятам,

в лестницах, как в мясорубках, кружа,
я посвящу тебе нить
той паутины, с которой душа
любит паучья дружить,

лестниц волчки, или власти тычки,
крик обезьян за стеной,
или оркестра косые смычки
марш зарядят проливной,

гостя, за маршем берущего марш,
я посету ту страну,
где размололи не хуже, чем фарш,
слабую жизнь не одну,

вешалок по коридору крючки,
я посвечу тебе в нем,
на два осколка разбившись, в зрачки
неба упавший объем,

надо бумагу до дыр протереть,
чтобы и лист, как листва,
мог от избытка себя умереть,
свет излучив существа.

* * *

Озера грудной разрыв.
Белок горловых комки.
Ветра мысль недоразвив,
стихло дерево. Ни зги.

Дымная навывлет хлябь.
Обморочный ночи рост.
Ребрами худеет рябь
в кварцевом продроге звезд.

Речью я протру глаза.
Гбре больше нечем крыть.
Вижу, что уже нельзя
видеть и не полюбить.

Тому семнадцать, как хожу кругами
вокруг постов своих сторожевых
над реками, семнадцать берегами
я лет хожу в пространствах нежилых,
дыханием моим за стадионом
отопленных, с футбольною землей,
раскомканной, под воздухом бездонным
все началось, кипящею смолой
на дальних пустырях, с теней в бушлатах,
с вагончиков отцепленных, тому
назад семнадцать, с вечера поддатых,
смурных и сократившихся до СМУ
с утра, когда, бредя с автостоянки,
я согревался начатым в глухом
углу одной бытовки у жестянки
с окурками спасительным стихом,
продолженным в заснеженных колоннах
Елагина на шатком топчане,
среди котлов, на угле раскаленных,
волчат огня, в своей величине
разогнанных до высыпавшей стаи
шипенья на рождественском снегу,
семнадцать, как губерния пустая
пошла и пишет через не могу
раскуренным стихом на финском фоне,
над мертвой рыбой с фосфором из глаз,
в другой бытовке скуку на Гудзоне
развевшим и конченным сейчас.

Трезвые наступают дни.
Точно спиртовок горят огни.
То на востоке взошла звезда.
Я не могу не смотреть туда.

В церкви сегодня поют с утра.
В путь собрались те, кому пора.
Вышли — и светом глаза прожгло.
Римское воинство снега шло.

Ясные наступают дни.
Пусть одиноки, но не одни.
Точно прильнули к доске дверной, —
так только может молчать живой.

В бронхах это хрипит Бронкса
поезд метро, кренясь,
это закатная залита в лица бронза,
это жилья в разбросах
зоологических ребер горит каркас,

это в поте лица пятниц
скарб, маскарад, огни,
пряные это дымки и закуты пьяниц,
просят, но как-то пятясь,
спи, — бормочу, сторонясь, — мой беби, усни,

мусор это рябит, синий
вечер оставит в стол
тяжкие локти, засмотрится ли разиня —
от корзины к корзине
все мускулистый колышется баскетбол,

спи, мой беби, усни сладко,
спи не как человек, —
то ему пир приснится горою, то свалка,
всякое зрелище жалко,
если его к Рождеству не засыпет снег.

Утренний мотив

На асфальте мечется
мышь, кыш, мышь,
сторож это, сменщица,
мусорщик, малыш,

семенит цветочница,
шарк, шурк, шарк,
точность мира точнится,
в арках аркнет арк,

взрыв бенгальский сварщика,
сверк, сварк, сверк,
голубого росчерка
меркнуть медлит мерк,

льется, не артачится
свят свет свит,
тачка утра тачится,
почтальон почтит,

Чарли это брючится,
блажь, мышь, блажь,
ночь в чернилах учится
небу тихих чаш,

пусть проходят где-нибудь,
клёш крыш клёш,
душу учит небо ведь
простираться сплошь.

На что мой взгляд ни упадет,
то станет в мир впечатлено.
Отечный свет аптек придет
из переулочных темно.

За ним туманный гомон бань,
где пухнет матовая мгла
и в гардеробе горбит брань
худую спину из горла.

За ним убожество больниц,
где выдыхают жизнь плашмя,
или иконы бледных лиц
глядят, как мать сидит кормя.

Пусть известковых стен подъезд
и подворотни грубый грот
дырявят плоскость этих мест —
на черный день есть черный ход

и есть материя стиха,
когда выныриваешь вдруг
на ленинградские снега.
Бери. Они из первых рук.

Шахматы (подстрочник)

Лакированная шахматная доска.
Аппетитный грохоток высыпанных фигур.
Взмах клетчатых крыльев —
и квадратная бабочка опускается на стол.
В двух кулачках прячется первый ход,
который тебе не нужен, но достаются белые.
Робкое движение крайней пешки.
Так не ходят, переходи. И ты ступаешь как все.
Едва ступаешь, но ступаешь. Едва.
«Дебют четырех коней» и «Сицилианская защита»
запоминаются благодаря гордому звуку,
но не далее примерно пятого хода.
А далее — ты начинаешь зевать и поглядывать за окно,
думая: плевать,
и учишься сдерживать слёзы
и примиряться со своей бездарностью.
(Позже, когда тебя пытаются поймать на зевке, —
ты становишься подозрительным.
И более искусным.
Хорошая игра требует дурного характера,
и только когда попадается партнер слабее тебя,
ты понимаешь, что все-таки лучше быть побежденным,
чем видеть его.)
Итак, ты учишься любить фигуры бескорыстно,
за их устойчивую красоту, не за намерение:
диагонально-хищный взгляд офицера на ладью
или выпрыг коня на развилку двух
разлучающих навсегда королевскую чету
дорог.

В отчаянии ты пытаешься рокироваться,
но — так не ходят,
и ты чувствуешь то же, что твой король,
пересекающий битое поле, —
не только животный ужас, но и стыд.
Однако безнадежность позиции освобождает
и можно безоглядно проигрывать, не пережывая.
К тому же в эндшпиле, до которого
голый король чудом доплелся, —
просторней,
и ты спокойно наблюдаешь,
как жадно толпящиеся фигуры противника
забивают в доску гвозди,
как они беспорядочно выскакивают с шахом,
надеясь, что — вот он! — последний удар, —
наблюдаешь
без снисходительной улыбки и не сдаваясь,
но — с удивлением:
видя, что противник, совершенно растерявшись
от множества вариантов,
проводит пешки — одну за другой — в ферзи
и что ты проигрываешь не в результате красивой комбинации,
но просто от истеричного перенаселения доски
черными фигурами.
Ни благородный победитель,
который не смотрит тебе в глаза,
ни торжествующий дурак,
предлагающий сыграть еще,
тебя не волнуют —
ты, на правах проигравшего, собираешь фигуры,
поверженные, лишенные
живого предвкушения игры,
и думаешь, застегивая гробик на железный крючок,
что все справедливо:

ведь ты играл если и с любовью,
то — к пейзажу за окном,
к тому идеальному полю для поражений
(в пределе — кладбищу),
где победитель не задерживается.

Эмигрантское

День окончен. Супермаркет,
мертвым светом залитой.
Подворотня тьмою каркнет.
Ключ блеснет незолотой.

То-то. Счастья не награбишь.
Разве выпадет в лото.
Это билдинг, это гарбидж,
это, в сущности, ничто.

Отопри свою квартиру.
Прислонись душой к стене.
Ты не нужен больше миру.
Рыбка плавает на дне.

Превращенье фрукта в овощ.
Середина ноября.
Кто-нибудь, приди на помощь,
дай нюхнуть нашатыря.

По тропинке проторённой —
раз, два, три, четыре, пять —
тихий, малоодаренный
человек уходит спать.

То ль Кармен какую режут
в эти поздние часы,
то ль, ворье почуяв, брешут
припаркованные псы.

Край оборванный конверта.
Край, не обжитый тобой,
с завезенной из Пуэрто-
Рико музыкой тупой.

Спи, поэт, ты сам несносен.
Убаюкивай свой страх.
Это билдингская осень
в темно-бронксовых лесах.

Это птичка «фифти-фифти»
поутру поет одна.
Это поднятая в лифте
нежилая желтизна.

Рванью полиэтилена
бес кружит по мостовой.
Жизнь конечна. Смерть нетленна.
Воздух дрожи мозговой.

Я жил в чужих домах неприбранных,
где лучше было свет гасить,
чем зажигать, и с этих выдранных
страниц мне некому грозить.

К тому же тех, что под обложкою,
страниц — и не было почти.
Ложился лунною дорожкой
свет ночи, сбившийся с пути,

свет ночи, пылью дома траченный,
ложился на пол, а прикрыв
глаза, я видел негра в прачечной —
он спал под блоковский мотив.

Казалось, сон ему не нравится,
а свет тем более не мил,
и если то, с чем надо справиться,
есть жизнь, то он не победил.

Я шел испанскими кварталами,
где над веревкой бельевой
и человеками усталыми
маячил мяч полуживой.

И в окнах фабрики, как водится —
полузаброшенной, закат
искал себя, чтобы удвоиться,
и уходил ни с чем назад.

Всё было выбито, измаяно.
Стояла Почта, дом без черт,
где я, как верный пес — хозяина,
порой облизывал конверт.

В тех городках, где жить не следует,
где в жаркий полдень страховой
агент при галстукe обедает
с сотрудницей не роковой,

в тех городках, что лучше смотрятся
проездом, бегло, как дневник,
в который, любят в нем иль ссорятся —
не важно, ты не слишком вник, —

чем становилось там дождливее,
тем неуверенней я знал,
что все могло быть и счастливее.
Но не было, как я сказал.

Партитура Бронкса

выдвиньте меня в луч солнечный
дети разбрелись по свету сволочи
дай-ка на газету мелочи

развелось в районе черной нечисти
ноют как перед дождем конечности
что здесь хорошо свобода личности

нет я вам скажу товарищи
что она такие варит щи
цвет хороший но немного старящий

он икру поставит чтоб могла жевать
каждый будет сам себе налаживать
я прямая не умею сглаживать

как ни встречу все наружу прелести
в пятницу смотрю пропали челюсти
тихие деревья в тихом шелесте

тихие деревья среди сволочи
в щаж луч золотится солнечный
развелось в районе черной мелочи

нет я вам скажу от нечисти
я прямая разбрелись конечности
цвет хороший но немного личности

он икру поставит чтоб товарищи
как перед дождем такие варит щи
как ни встречу все наружу старящий

дети разбрелись но чтоб могла жевать
дай-ка на газету сам налаживать
что здесь хорошо умею сглаживать

выдвиньте меня наружу прелести
каждый будет сам пропали челюсти
тихие деревья в тихом шелесте

Баллада по уходу

Шел, шел дождь, я приехал на их,
я приехал на улицу их, наих,
всё друг друга оплакивало в огневых.

Мне открыла старая в парике,
отраженьем беглым, рике, рике,
мы по пояс в зеркале, как в реке.

Муж в халате полураспахнутом,
то глазами хлопнет, то ахнет ртом,
прахом пахнет, мочой, ведром.

Трое замерли мы, по стенам часы шуршат.
Сколько времени! — вот чего нас лишат:
золотушной армии тикающих мышат.

Сел в качалку полуоткрытый рот,
и парик отправился в спальный грот.
Тело к старости провоняет, потом умрет.

О бессмысленности пой песню, пой,
я сиделка на ночь твоя, тупой,
делка, аноч, воя, упой.

То обхватит голову, то ковырнет в ноздре,
пахом прахнет, мочой в ведре,
из дыры ты вывалился, здыры ты опять в дыре.

Свесив уши пыльные, телефон молчит,
пересохший шнур за собой влачит,
на углу стола таракан торчит.

На портретах предки так выцвели, что уже
не по разу умерли, но по два уже,
из одной в другую смерть перешли уже.

Пой тоскливую песню, пой, а потом среди
надевай-ка ночи носок и себя ряди
в человеческое. Куда ты, старик? Сиди.

Он в подтяжках путается, в штанинах брюк,
он в поход собрался. Старик, zugück!
Он забыл английский, немец, тебе каюк.

Schlecht, мой пекарь бывший, ты спекся сам.
Для бардачных подвигов и внебрачных дам
не годишься, ухарь, не по годам.

Он еще платочек повяжет на шею, но
вдруг замрет, устанет, и станет ему темно,
тянет, тянет, утягивает на дно.

Шел, шел дождь, я приехал к ним,
чтоб присматривать, ним, ним, ним,
за одним из них, аноним.

Жизнь, в ее завершении, хочет так,
чтобы я, свидетель и ей не враг,
ахнул — дескать, абсурд и мрак!

Что ж, подыгрываю, пой песню, пой,
но уж раз напрашивается такой
вывод — делать его на кой?

Leben, Бог не задумал тебя тобой.

Одиночество в Покипси

Какой-нибудь невзрачный бар.
Бильярдная. Гоняют шар.
Один из варваров в мишень
швыряет дротик. Зимний день.

По стенам хвойные венки.
На сердце тоненькой тоски
дрожит предпраздничный ледок.
Глоток вина. Еще глоток.

Те двое — в сущности, сырье
для человечества — сейчас
заплатят каждый за свое
и выйдут, в шкуры облачась.

Звезда хоккея порет чушь
по телевизору. Он муж
и посвящает гол семье.
Его фамилия Лемье.

Тебя? Конечно, не виню.
Куда он смотрит? Впрочем, пусть
все, что начертано в меню,
заучивает наизусть.

В раскопах будущей братвы
найдут залапанный предмет:
Евангелие от Жратвы —
гурманских рукописей бред.

И если расставаться, то
врагами, чтобы не жалеть.
Чтоб жалости не знать! Пальто!
Калоши! Зонтик! Умереть!

Увижу библию песка до горизонта,
в удушьё шпалы креозота,
зеленого солдата гарнизона —
лакает молоко и сдобу с маком
жрет, шмыгая, под Мангышлаком.

Увижу: кочегар выносит шлак
в горячих ведрах —
откос, его рифленный шаг
и майка блеклая на ребрах.

Навеки стой, солдат, и прижимай к груди,
давясь, продолговато-белое,
и в сапогах несоразмерных так иди,
мгновенный кочегар. Вы мозг. Вы целое.

Будь, воздух голубей,
испуганно взметенных,
еще гораздо голубей.
Я слышу развлеченья крик: «Убей!» —
и ловят их, с ума сведенных.

Гори, песок, гори, песок проезжий,
пусть жажда разевает рот,
скрежещет тамбур, в законной бреши
сын стрелочницы, рахитичный, рыжий,
глаза, два кулачка зажмунив, трет.

О, если у состава есть сустав,
он, перебитый, крикнет: «Кокчетав!»

Есть имена — не имена, а натиск.
В палящем солнце есть Семипалатинск.

Есть рабский труд и два карьера глаз,
две Достоевских впадины добычи
страдания, цепей оскал и лязг,
впряженный труд в виски и скулы бычий.

Есть Гурьев, Астрахань, дизентерия.
Больница на отшибе в засухе.
Есть у цыганки жизнь за пазухой.
Корми, кормящая. Ты навсегда Мария.

Странней, зернистая страница, азбукой.

Вспоминая Пастернака

Гудящий зерноток.
Из пыли и зерна
ты выйдешь видеть толк,
с каким опылена

созвездьями Земля,
как яблоки висят
и, кислотой спая,
зеленым белят сад.

Но тень свою шатнешь,
и в черноту шагнешь,
и тишину сроднишь
с собою, и сравнишь:

как замшей камышей
ночной покой обит, —
мышление мышей
в мешках пшеницы спит.

Мария Магдалина

Вот она идет — вся выпуклая,
крашенная, а сама прямая,
груды высоко несет, как выпекла, и
нехотя так, искоса глядит, и пряная.

Всё ее захочет, даже изгородь
или столб фонарный, мы подростками
за деревьями стоймя стоим, на исповедь
пригодится похоть с мокрыми отростками.

Платье к бедрам липнет — что ни шаг ее.
Шепелявая старуха, шаркая,
из дому напротив выйдет, шавкою
взбеленится: «Сука, — шамкнет, — сука жаркая!»

Много я не видел, но десятка два
видел, под ее порою окнами
ночью прячась, я рыдал от сладкого
шепота их, стона, счастья потного.

Вот чего не помню — осуждения.
Только взрослый в зависти обрушится
на другого, потому что где не я,
думает, там мерзость обнаружится.

В ней любовь была. Но как-то страннику
говорит: «Пойдем. Чем здесь ворочаться —
лучше дома. Я люблю тебя. А раненько
поутру уйдешь, хоть не захочется».

Я не понял слов его, мол, опыту
не дано любовь узнать — дано проточному
воздуху, а ты, мол, в землю вкопана
не любовью — жалостью к непрочному.

А потом она исчезла. Господи,
да и мы на все четыре стороны
разбрелись, на все четыре стороны,
и ни исповеди, ни любви, ни жалости.

Вариант Медеи

Песенку бубнит придурковатая,
голова болит продолговатая.

— Где ты так сошла с ума? —

— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я
не знаю сама.

— Слушай, слушай, входит папа в комнату,
в темную такую, смотрит томно в ту
сторону, где я лежу,
на себя гляжу я, папой обняту,
и в страхе дрожу.

— Что ты тут такое, папа, делаешь
с девою, со мной? Ты, папа, деву ешь. —
Жадно бедненький сопит:

— Ты мне, — отвечает, — только тело нежь, —
засыпает, сыт.

Дурочка гундосит свою песенку,
песенку свою гундосит плесенку,
в сумке роется, со дна
достаёт цветную бесполезенку,
красится, бледна.

— Слушай, слушай, женихов невиданно
мама нагнала, ведь я на выданье,
а она, ворожея,
все колдует, чтобы выдать выгодней,
сама не своя.

— И загадку жениху, мол, кто, мол, та,
что жена и дочь отцу, — и молодо
нам подмигивает так, —
а не отгадаешь, мол, размолота
твоя жисть, дурак.

К рюмке с ядовитым зельем тянется,
а в глазах гуляет-пляшет пьянь отца.
— Где ты так сошла с ума
и какой танцуешь танец? — Танец? Я
не знаю сама.

— Сколько полегло их, невозлюбленных,
мамою и папою погубленных, —
расчленят и жгут в печи,
жалко их, зарубленных-обугленных
в золотой ночи.

— В золотой, да с пятернями-звездами
на стекле, да с пауками, гроздьями
виснущими со стены,
а потом втроем танцуем, — гости мы
как бы сатаны.

Песенку бубнит придурковатая,
голова болит продолговатая.
— Где ты так сошла с ума?
— Я-то? — Ты-то. — Я-то? — Ты-то. — Я-то? Я
не знаю сама.

Романс

Ах как уютно,
ах как спиваться уютно.
Тихо спиваться, совсем без скандала.
Нет, не прилюдно,
нет, ни за что не прилюдно.
Истина, вот я! Что, милая, не ожидала?

Ах, покосится,
ах, этот мир покосится.
Что там синее, окно наряжая?
Что-то из ситца,
что-то такое из ситца.
Небо — от Бога. Я вместе их воображаю.

Ах как не жалко,
ах как легко и не жалко!
В петельке дыма, как будто в петлице,
тает фиалка!
Благоухает фиалка.
Ах, закурив, улетаю к небеснейшей птице.

Оскар с Марселем,
Оскар летает с Марселем
там темнооким, в цилиндре и с тростью.
Тянет апрелем,
искренним тянет апрелем,
зеленоватой, едва завязавшейся гроздью.

Взоры возвысьте,
до небыванья возвысьте!
Легкие, мы забрели в эти выси
не из корысти,
как птичьи не из корысти
тельца пульсируют, птичьи, и рыбы, и лисьи.

Ах, виноградник,
зрей, мой лиса-виноградник!
Ведь тяжелит только то, что порочно.
Огненный ратник,
целься в счастливого, ратник,
в легкого целься, без устали, ласково, точно.

Ходасевич

Пластинки шипящие грани,
прохлада простынки льняной.
Что счастье? Крюшон после бани,
малиновый и ледяной.

Которой еще там — концертной? —
прохлады тебе пожелать?
Немного бы славы посмертной
при жизни — да и наплевать.

На весах

А пока на весах я стою,
на клеенке белесой,
взвешиванье воспою,
гирьку противовеса,

капли влаги на стенах
склизких и вдалеке
карту мира в растленных
пятнах на потолке,

буду точен как жизнь,
чтобы два в равновесье
белых клюва сошлись
на весах, — вот он, весь я,

воспою переход
в банное отделение, —
холод горько пахнёт,
и окна полыхнет воспаление,

плавай, мыльница, там,
в море круглом,
а покуда к ноздрям
придымится всем углем

эпос трюмов, снастей,
парусины прогретой,
тросов, торсов, страстей,
тьмы запретной.

Поле дымное брани,
шайки неандертальцев,
ямки, выпаренные после бани,
на подушечках пальцев.

В поезде

Как тянутся часы ночные,
какое время неблагое,
и лица блёклые, мучные,
и всё на свете — Бологое.

Как будто пали в общей битве
(и пробуют опять слететься)
за наволочку, простыни две
и вафельное полотенце.

Как будто в узком коридоре
лиц нехорошее скопление,
и вот — униженность во взоре,
готовая на оскорбление.

Задвинь тяжелую, не надо,
пусть в глуби зеркала, нерезко,
лежит полоска рафинада
в соседстве с ложкой полублеска,

пусть, тронутое серой линькой,
заглянет дерево со склона
в колеблющийся чай с кислинкой
благословенного лимона.

И поднеси стакан, не пряча
познания печальный опыт,
почувствовав его горячий
и приближающийся обод:

откуда знать тебе, кого ты
на полустанке присоседишь,
и что задумали длинноты,
и вообще куда ты едешь.

В блокнот

В сереньком тихом пальто
дождик, как мышкин, идет.
Что это значит? А то.
Мимо стоит идиот.

Булочку с маком жует,
пищевареньем живет.

Ноль-вероятность прийти
в мир человеком-собой.
Стой, идиот, на пути
глубокомыслия. Стой.

Наискосок перейду
я перекресток и весь
в мнимую область вон ту
выйду не-мной и не-здесь.

Обход с Достоевским

Сюда, сюда, пожалуйста-с, прошу-с,
составьте честь, а зонтичек, а мокро-с,
что затоптались? борет грозный образ?
ну наконец-то-с, эх, святая Русь
всех примет, незадирчиво раздобрясь.

Здесь Болдесовы, любят трепеща-с
среди нестерпимой ненависти-с, ручку,
прыг-прыг, ловчее, вишь ты, сбились в кучку,
невемо что приспичило сейчас —
вчера весь вечер трогали получку.

Не знаю-с, право, с чем сопоставим
стиль Бандышей, да вы бочком, мостками,
я извиняюсь вам, погрязли в сраме,
валяются всю ночь по мостовым
и хрюкают. Дощупывайтесь сами.

Зато у генеральши пол натерт-с
и все блестит-с, Утробину-паскуде
шампанское несут и фрукт на блюде,
а то еще закажут в «Норде» торт-с —
военно-эстетические люди!

Пожалуйста-с сюда, здесь топкий пруд,
а мы перепорхнем-с, не в месте вырыт,
народец — гнусь, тот в шляпе, этот выбрит —
а всё одно: ладошками сплеснут,
да хохотнут, да что-нибудь притибрят.

Но веруют — я без обиняков —
изряднейше: Ярыгин, этот в церковь
бежит, чтобы прожить не исковеркав
души, с ним Варначёв и Буйняков —
и все метр пятьдесят, из недомерков.

Народ наш богоносец, новый сброд
людей, как говорится, впрочем, есть и
мошенники, которые без чести,
с препонами, но в целом-то народ,
могу по пунктам-с, тих, как при аресте.

А вместе с тем — и крайний по страстям,
Туныгины относятся к тем типам,
что плачут врыд, хохочут — так с захлипом,
чуть что — за нож, держитесь, где вы там?
по праздникам страдают недосыпом.

Для благоденствий совести — кружки,
где люди образованные; к власти-с,
когда возьмут с поличным, льня и ластья
живут, а так — с презреньем, и стишки
пописывают вольные, несчастье-с.

Игонины, Гопеевы, подчас
всех не припомню-с, кладезь, исполины,
хоть вполпьяна и стужею палимы,
и сплошь позор, и плесень, но игра-с
природы гениальная. Пришли мы.

Не вечно же плутать, хоть чудо — Русь,
среди распутиц этих и распятыц,
ну, что ли, до приятнейшего, братец,
для вас уже просторная, смотрю-с,
готова клетка с видом на закатец.

Заболоцкий в «Овощном»

Людей явление в чистом воздухе
я вижу, стоя в «Овощном»,
в открытом ящиковом роздыхе
моркови розовые гвоздики,
петрушки связанные хвостики
лопочут о труде ручном.

И мексиканцев труд приземистый
шуршит в рядах туда-сюда,
ярко-зеленый лай заливистый
салата, мелкий штрих прерывистый
укропа, рядом полукриво стой
и выбирай плоды труда.

И любознательные крутятся
людей зеркальные зрачки,
а в них то шарики, то прутьица,
то кабачок цилиндром сбудется,
и в сетках лаковые грудятся
и репчатые кулаки.

Людей явление среди осени!
Их притяжение к плодам
могло б изящней быть, но особи
живут не думая о способе
изящества, и роет россыпи
с остервенением мадам.

То огурец откинет, брезгую,
то смерит взглядом помидор.
Изображенье жизни резкое
и грубоватое, но веская
кисть винограда помнит детское:
ладони сборщика узор.

Чтоб с легкостью уйти, старения
или страдания страда
задуманы, и *тень* творения
столь внятна: зло и озверение...
Но испытанье счастьем зрения?
Безнравственная красота.

ГРИФЦОВ

Любовь

Как-то раз его навестила молодая пара,
муж с женой. Он тогда умирал от горя,
потому что был брошен возлюбленной
дивноокой... Грифцов сказал им,
что у него нашли угрожающую аритмию.
Пару цепко заинтересовал метод
опознания опасной болезни.
Чуть замешкавшись, Грифцов поведал...
И жена, откусив плода кусочек,
улыбнулась: «Угрожающую аритмию
так вообще-то не определяют».
Муж за ней повторил: «Не определяют».
Вскоре пара, обнявшись, к машине
заспешила мягко, простясь с Грифцовым.

Только год спустя он диалог расслышал,
торжествующий диалог их в салоне рая,
и любовь их увидел там же,
чуть отъехали они и в лесок свернули.

Выходной

Как-то раз он пришел домой без четверти
полночь, ручные часы и настольные
показали без четверти, но оказалось,
что настольные встали ровно
в тот момент, когда он смотрел на стрелки.
Вот тебе, Грифцов, и смотрелки.
«Не из ревности ли к тем, что ближе, —
усмехнулся он, — батарейка села?»
Он ее пожурил: «Невежливо. Ведь вошел хозяин».
Или, может быть, взгляд его был недобрый,
ведь настольные часы — будильник...
Утром его разбудило солнце,
утром зимнее выходное солнце его разбудило.
Всех-то дел было — пройтись до магазина,
заменить батарейку, купить бублик к чаю.
Сказано — сделано. Он шел спокойно,
словно бы видя, как идет спокойно,
словно бы не он это шел, а тот, кто легче,
ничего не значащий человек, невесомый...
Путь туда, вывернувшись наизнанку,
стал обратным. Дверь на лестничной клетке
вертикальным конвертом белела.
Он открыл ее, вложил себя и захлопнул.

«Я письмо, — подумал Грифцов, — но знать бы,
от кого, кому и на чем наречье...»
Он поставил часы на стол, и тут стемнело.

На уроке

Как-то раз Грифцов-репетитор
занимался со школьником малым,
бледным, как утренняя погода.
Он и был ее блудным сыном —
так рассеянно смотрел в окно, неотрывно...
В молоко... «Он целиться не научен,
он не знает, что такое мишень, —
так Грифцов сказал про себя и спросил:
Антоним к слову “свет”, допустим?»
Но мальчик его не слушал.
«Не антоним ли ты ко мне, Грифцову?
Сколько раз надо сглотнуть обиду,
через труп свой переступая,
чтобы молоко на губах обсохло,
глаз научился смотреть с прищуром,
а щека прилегла к прикладу?»

И Грифцов решил: «Пусть его научит
кто угодно, только не я». И вышел.

Библейский сон

Как-то, в пору наводнения,
выпустил Грифцов из рук тепла
голубя, и тот исчез дотла,
засмеркался и исчез, вроде видения.
Небо ночи синью возросло,
как кристалл сульфата меди.
Заклубилась колба сна, Грифцов весло
уронил. Все стало ожеледью.

Долго видел взорванное
и застывшее стекло пространства,
а потом канун почувал празднества.
Ослепило что-то взор его.
То была предутренняя весть —
выюркнув из льдистого тумана,
в форточку влетел, Грифцову весь
возвращенный, голубь Иоанна.

Первое свидание

Вот воздуха февральского клочок,
на нем ее фигура перевозданно
горит, чтоб твой затеплился зрачок,
Грифцов, и он затеплился. Осанна!

Когда ты приближался к ней, она,
еще внезапна и с собой не сходна,
была с таким пристрастием дана,
что сердце в горле билось. Превосходно!

Грифцов, как хорошо тебе дрожать
в своей любви, ты приобщился к тайне,
и это все, что стоит удержать —
клочок февральский! — в памяти. Бескрайне!

Осанна! Этот двор и редкий снег,
летающий на сарай, качели, бревна
и ветви всех деревьев — этих рек,
текущих в небеса... Беспрекословно!

Грифцов прогулочный

1

Кто этот винодел, который свел
речную рябь и запах смол?
Вдоль берега проносится по шву
искристый поезд, вылетевший из
шампанского туннеля. Празднуй жизнь!
Но как поверить в то, что я живу?

Я на мосту свидетель облаков,
златящихся со всех боков,
и синевы, в кристалликах стиха
сверкнувшей, точно Лермонтов какой
волной плеснул мне в сердце звуковой
и молвил на прощанье: «Ночь тиха...»

2

Надо где-то рядом погулять
с обозримым, здесь, но где-то рядом...
Вдруг увидеть ледяную гладь
озерца и стать безмерным взглядом.

Треском льда напугана, гусей
всколыхнется эскадрилья,
с криками и хлопаньем, во всей
траурной красе расправив крылья.

И исчезнет. Наклони печаль,
чтоб пригубить из пустого блюда
и невидимым усилием даль
так в себе продлить, чтоб не вернуться.

Два возвращения

Как-то раз Грифцов обморочно засмотрелся,
а верней — уставился в одну точку,
а еще точней — с собой смирился
и забыл себя насовсем и прочно.

Как небесный глобус, фонарь горел на платформе.
Перешептываясь, стояли деревья вплотную.
Но Грифцов не дольний мир уже созерцал, а горний,
из горячей полдня воды входя в ледяную.

И когда оглушительно смолкло на белом свете —
ни трагедий, ни глобуса, ни горького запаха гари, —
мысль-чертовка, подобно хвостатой комете,
пролетела мимо Грифцова мозга двух полушарий.

Через час, ночь ли, вечность, обросший щетиной,
он очнулся, подумав: «О забытье, как ты мудро!» —
равной радости миг миновал неощутимой —
и вышел в торопкую трусость утра.

Семь плюс один

У одного глава склоненная —
устал и на закате сник,
а у другого — удлиненная
с изгибом шея, в тот же миг
у третьего — улыбка кроткая,
четвертый сдерживает гнев;
потупясь: «Жизнь моя короткая!» —
вздыхает пятый нараспев,
шестой в окно глядит без усталы,
и тянется к нему седьмой —
кто знает, что у них, не чувства ли...

Грифцов застыл, придя домой:
не разум — он всегда провинция
безмолвной истины, пойми,
нет, в отрешенности *прими* —
изысканная интуиция
тюльпанов огненных семи.

Живые картины

1

...в маленькой зиме
свет змеится в лезвиях-полозьях,
срез на ледяном зерне —
огненный каток, и люди — парно и поврозь их
вижу — с паром изо рта,
вскользь наклонны и пестро цветисты,
золотая лампочек орда
осадила елку, ветра плети-свисты,
с горки с криком сыпь —
бисер детворы ничком, на спинах,
в темном небе глыб
оспина луны, и дышит сон в полях остынных,
в маленькой зиме,

в маленькой зиме,
в калейдоскопе
вижу их в паденье и в подскоке,
в парке, в шнуровании конька,
в снег роняют денежку денька,
и ступает ночь уже украденко...

— дяденька, — кричит мне мальчик, — дяденька...

2

Выхватыватель жизнестрок!
Так воробей бочком, робея,

вмиг — крохобор, взъерошенный репей,
и выстрел сердца, и воинственный наскок.

А рядом — под шатром — веселье,
родительская россыпь вкруг,
вдруг — по ребенку склюнув с карусели,
все второпях летят на кухню жаркий юг.

А после — то в одном оконце,
к нему подплыв из темного нутра,
то в третьем, как наживку, солнце
медно-зеленый сом заглатывает до утра.

И площади пустующая мель
развесит шторы — невода сухие,
и ночь погасит многохищные стихии
и вскормит булкой сна дневную карусель.

3

В вечернем воздухе завис —
он исполняет кистевой
бросок, — над ним сияет высь
своей закатной синевой.
Над головой откинута ладонь,
сейчас просвистнет хлестко
и сетку просквозит огонь —
оранжевого прометея слезка.
О, задранное вверх лицо,
о, жизнь, прямящаяся вся, —
без устали бросать в кольцо
и гаснуть, в воздухе вися.

Грифцов-Орфей

Дуновенье небесной купели.
Как идти с Эвридикой он рад
сквозь цветения время, в апреле!
Первых листьев горят,

зеленясь, язычки, и душиста
прорастающая тишина...
Вдруг у дерева остановилась:
«Разве мысль не страшна —

умереть и отчетливой сини
никогда вот над этой ветлой
не увидеть? Непереносимо...» —
и взглянула светло.

Это было прекрасно и просто.
Дай мне вспомнить, пока не забыл,
как Грифцов полюбил ее просто,
как легко полюбил!

Грифцов и Вторая книга Царств

И было после того: у Авессалома,
сына Давидова, [была] сестра красивая,
по имени Фамарь (Тамар), и полюбил
ее Амнон, сын Давида.

2 Цар., 13:1-22

1

Болен твой брат, сестра.
Ты его навести.
Свечой добра
в темноте погости.

Ты ему приготовь
понежнее еды.
Все-таки кровь...
Дай воды.

Пусть не будет в дому
никого, только вы.
Ближе к нему
подойди, позови.

Ты над ним наклонись,
имя шепни: Амнон!
Есть ли в нем жизнь?
Дышит он?

2

Глаза закрою — и реву
во сне, и сам себя не знаю, —
с тебя сдирая платье рву
и плоть твою терзаю.

И если не орущий взлом,
меня увечащий ночами,
и если сквозь тебя стволом
тотчас не прорасту толчками,

то мозг расплавится. Сестра?
Но тем острее, чем запретней.
Будь медленна, потом быстра,
влажнее и ответней.

О, этот крик, когда, вмяня
в себя до огненного края,
ты липким соком недр меня
обволокнуешь, изнемогая!

3

— Стали позором, брат,
жизни ночи и дни...
Но и пути назад
нет мне. Не прогони.

— Мне тошнотворен мед.
Губ твоих не ищу
и за то, что я мертв,
тебя не прощу.

— Разве моя вина
в том, что в зверином сне
ты исчерпал до дна
жизнь? Повернись ко мне.

— Не прикасайся. Сплю.
Мозг превратился в пар.
Я тебя не люблю.
Уходи, Тамар.

Грифцов и Беккет

1

Вас, беккетовских двух, прижатых
друг к другу, слившихся в одно
двуглавое, худых, не жадных
до жизни, сброшенных на дно
существования, столь спящих
и нищих, слипшихся почти,
в подземном грохоте пропащих,
навек сбившихся с пути,
утраченных, усохших, утлых,
вас, беккетовских двух, прилудных, —

в людской стране высокомерья,
в которой разве только сон
горяч, животный сон безверья, —
я созерцал и, вознесен,
возвел вас не в абсурд и вздор, нет —
в сердечный пламень среди льдин...
Двуликий Янус, что развернут
внутри профилями, где один
так разрыдался вдруг, что смехом
другой откликнулся, как эхом.

2

Пойдем? Я приготовился... — О господи,
ты стал как тень. — А ты? — Какая местность
скупая! Что за пшики? — Паровоз, поди. —
Нас кто-то встретит? — Полная безвестность. —

А ты ее узнаешь? — Я-то? Сослепу?
Едва ли... В крайнем случае, на голос
пойдем... — Внимай и будь послушен оклику.
Нет, что это? Не Северный ли полюс? —

Не знаю. — Что? — Тетеря... Ты квитанции
и паспорта взяла? — Дурак, мы тени!
Как предпочтительней тебе — от станции
или на станцию?.. — Нет предпочтений... —

Тогда пойдем...

Весна

У женщин выпятились животы,
идут подруги футболистов,
дыханием приоткрывая рты,
и шепотом шумят трибуны листьев.

Дымят лотки, страды весенней стынь,
из подтрибунных помещений
везут на свет арбузы дынь,
и почки лопаются без смущений.

Безмозглый мир счастливится дождем.
Дозволь-ка мне не выпад — выцап
когтистой мысли: я о том,
что будь разумен мир — мне не родиться б!

ИЗ РАЗНЫХ КНИГ

По-весть

Помню, шагом шел нетвердым в одиночестве негордом
и забрел — за коим чертом? — по пути в кромешный бар.
Бар напрасный, бар случайный, жизнь, зачем судьбою тайной...
От тоски ли чрезвычайной и семейных дрызг и свар
я набрался как сапожник и услышал сквозь угар,
как в окно влетело: «Карр-р!»

Карр-р. Карета. Некто в черном, взором огненным и вздорным
озаряя ночь, проворным жестом вынув портсигар,
в бар вбежал и сел напротив, но погоды не испортив, —
я, как если бы юродив был, легко держу удар...
Сел и сел, сиди с дедалом, с неба рухнувший икар.
Тут он рот разинул: «Карр-р!»

Ну и что? Я не в обиде. Жизнь прошла в нетрезвом виде,
и кому сказать «изыди!», если сам себе кошмар?
Бар прокуренный и чадный, пересыпан непечатной
бранью мерзкой и надсадной, воздух — смрад и перегар...
Все ж в реестре преисподней бар не худшая из кар.
Сотрапезник рявкнул: «Карр-р!»

Я спросил: «Придя оттуда, где, навалены как груда
или поданы как блюдо, мы мертвы, и млад и стар, —
свет пролей — на *самом* деле мы мертвы, когда не в теле?
Есть душа, о коей пели и поют, ценя свой дар,
менестрели? Эти трели — правда или же товар?»
Он кивнул и молвил: «Карр-р!»

«Если ж есть душа в загробном мире, телу неудобном,
в состоянии свободном лучше ль ей? И что там — пар
млечный? ангелов ли пенье? — не испытывай терпенье! —
света параллелепипед или звука белый шар?»
За окном сирена взвыла — на пожар промчалась саг.
Призрак, выпив, вскрикнул: «Карр-р!»

Я в ту пору жил на Pelham, был декабрь, несло горелым,
надвигалась баба в белом, я забрел в кромешный бар,
где с таинственным собратом, чернобровым и крылатым,
расщепляясь точно атом, пил не то чтобы нектар.
Алкоголь — мой горький фатум. «Карр-р! — в проезжем свете фар
гость мой дважды гаркнул. — Карр-р!»

«Где мой первый друг бесценный? — я воскликнул. — Что за сценой?
Говори, бродяга бранный!» — Но бродяга с общих нар
встал и подал знак, чтоб следом шел за ним я. Верно, ведом
путь ему... И за соседом я ступил на тротуар.
Две парковки, три заправки, супермаркета амбар...
«Что замолк ты? Каркни!» — «Карр-р!»

Шли и шли. Снежинка косо пролетела возле носа.
Ни единого вопроса больше не было. Футляр.
Человек в футляре. Узость взгляда есть, по сути, трусость.
Изворотливость, искусность, — вот и весь твой скудный дар.
Современный борзописец мне кричит: «О чем базар?»
Отвечаю кратко: «Карр-р!»

Кар-навал окончен вроде. С общих нар — и на свободе,
рифма ей — на небосводе. Вот свеча, а вот нагар.
Вот дымок — смотри, он тает. Вот восток — смотри, светает.
Слово чистое витает, открестьясь от черных чар,
и округа обретает ясность черт. Не слышу «карр-р!».
Что-то я не слышу «карр-р!».

Помню, шагом шел нетвердым за притихшим, помню, чертом,
помню, мы пришли на Fordham¹. «Кто ты есть, скажи, фигляр?»
Ничего мне не ответил, только стал прозрачно-светел,
и тотчас, как я заметил, рассвело среди хибар.
Небо ожило, и ветер вымел все тринадцать «карр-р!».
Здесь твой дом. Прощай, Эдгар!

¹ *Fordham* — во времена Эдгара По сельская местность, где поэт провел последние годы жизни и написал «Ворона». Сейчас район Бронкса; примерно в часе ходьбы от него — Pelham.

Этюд

От хрустальных люстр,
занавесок-тюль,
покрывал пикейных,
от декабрьских утр
хладнокровных пуль,
от спецов тупейных,

от причесок тех:
челок и каре —
да чулочков в рубчик,
шапок — рыбий мех,
дров в сыром дворе,
прописей и ручек

да от санных полос,
от резца-сверла,
в зренье втравленного,
набежавших слез
ноша тяжела,
сердца сдавленного,

от кошелок тех
да клеенок кухнь,
рук в муке, передников,
инженеров-тех,
птичек выпь и рухнь
да воскресников,

от халтуры — гипс:
пионер-салют,
на плече дитя, —
от заборов с «икс,
игрек...» слóва зуд,
вот и цедится,

вот и цедится по строфе,
по одной, по две,
ветер, стадион,
фильдеперс, галифе,
голо голове,
май, тюльпан, пион.

Козлиная песнь

Давай, чахоточный Коптёлыч,
нюхнём и двинемся в поход
по светлым улицам, где сволочь
людская шляется вразброд,
минуем Невский без оглядки,
собою Биржу освятим,
а после в явочном порядке
Наташу с Лидой посетим.
Бумбяныч тоже знает явки,
он на Литейном, вечный жид,
букинистические лавки
в коротких брючках обежит,
а после — в Озерки (не спится!),
он руки в ноги — и в галоп,
а приглядишься — там копытца
и рожками увенчан лоб.
Стоит Поэт потертым фертом,
торчит фонарь, как буква «рцы»,
пианистическим концертом
звучат роскошные дворцы.
Над крепостной стеною розов
закат, Лавласа быстрый шаг
пестрит вдали, пока Философ,
в окно уставясь, молвит так:
«Я половое знал томленье,
но больше к девушкам не мчусь,
а скажет кто “совокупленье” —
я попросту расхохочусь».
Осталось ли нюхнуть в запасе?

Нет. Возвращается, помят,
в свои простые восвояси
библиофил и нумизмат.
Коптёлыч, завтра там же сходка,
где белой ночи блёкнет пыл,
пока не съела нас чахотка
и Озерлаг не распылил.

Письмо Гоголя

Едва приехал — слег,
всквозь до печенки,
трясаясь в некрепкой колясценке,
в пути продрог.

От стылых ли камней
гнилого края
как воспалительность какая
в крови моей.

С утра кругом туман
да шум работный,
карман-то у людей неплотный,
пустой карман.

Перекрестясь, пишу:
пришлите денег,
жизнь выметает их как веник.
Я вас прошу.

Хотел скопить, но — чу! —
вдруг вижу платье,
а гардероб — мое проклятье.
Я не франчу, —

сюртук был сильно дран
под мышкой слева...
А я в ответ вам для посева
пришлю семян.

Увижу ли зарю?
Скажу без ячеств,
что существую не без качеств,
хотя хандрю.

Провозглашу как есть,
простите смелость:
в восторгновенье бы хотелось
свой дух привести.

Чтоб не сидеть порой
поджавши руки,
а простерить долину скуки
живой искрой.

За подвигом умру.
Прожить напрасно,
обравнодушившись безгласно,
претит нутру.

Для вдохновенных струй,
для сладкопенья,
о дух смиренья и терпенья,
любве даруй!

Посещение

Ночь декабрьская, холод.
В отчий дом захожу.
Я, старик, еще молод.
Свет тускнеет в прихожей.

Из столовой отец,
сбоку выйдя: «Трагедия
в нашем доме», — и тень
к тени, две на паркете.

Мать выходит потом.
«Что стряслось?» — замираю.
«Мы вчера, — впалым ртом
говорит, — оба умерли».

Прохожу. Вижу в спальне
мать у зеркала молодая
прихорашивается, шаль
на плечах, ни следа

смерти, рядом отец —
то обнимет ее, то смеется,
слышу скрип половиц,
белый свет на них льется.

Перед отлетом

Вот он, огненный тамбур, —
здесь с тобой выпивал я не раз.
Это гамбургер, варвар,
это чизбургер, френч твою фрайз.
Здесь я захорошею
и увижу, как в черном окне,
лебединую шею
изогнув, проплываю вовне.
В черном космосе — желтый
куб «Макдоналдса». Музы поют.
Что искал, то нашел ты, —
чудной жизни последний приют.
Так давай же потешим
душу, глядя на звездчатый лед, —
это счастье в чистейшем
виде взято тобой напролет.

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Матвеева, Зотикова и Антон

Юноша в небе летит,
с дерева он сорвался,
яркой весны разгорается аппетит,
солнце весеннее, алья.

С девочками двумя пойдем
за гаражи и снимем
трусики: с тоненьким петушком
я постою на синем

фоне небесном и погляжу:
лодочки девичьи!
Руки на лодочки положу.
Дни как царевичи.

Юноша в небе летит,
быть ему без селезенки.
Кто там паяет и кто там лудит,
лесенки носят, и песенки звонки.

Кто петушков
лижет и ладит гирлянды?
Кто идет из кружков?
Кто встает на пуанты?

Маленьких балерин
белые кости.
Переверни глицерин.
Праздник и гости.

Мальчик, себя мусоль,
членистоногий, —
выпадет белая соль.
Боже, прекрасны Твои дороги.

Серебряков

...целует девку — Иванов!

Н. З.

А то еще весна стократная,
и обморочных облаков
картина в лужах всеобратная.
Идет домой Серебряков.

Два воробья сидят в числителе
на проводе, и, сократясь,
один слетает, чтоб не видели
его, в прожиточную грязь.

А тот другой еще топорщится,
и водит тряпкой по доске
вдали забытая уборщица.
И жизнь висит на волоске.

Но как висит! Какие области,
Серебряков, какой просвет
под юбкою, какие полости
тебе обещаны, сосед.

Не ты ли вынимал под партою
проснувшегося воробья
и с ним затеивал азартную
игру, и восхищался я.

Весна стоит первосвященная,
и капли кровельных желез
стекают в рот. О, совершенная
жизнь, обретающая вес.

Белова

Зажатие в углу Беловой,
дыханье рыбное ее,
когда дракон многоголовый
шершавых мальчиков облавой
теснит орущее сырье.

Каким томливым слабоумьем
тот многохвостый, тот дракон
живет и дышит многогубьем,
и многолапья многогубьем
задрать Белову хочет он.

И вот по позвонку от шеи
трещат крючки и с мясом рвут
сукно, о, темные аллеи,
в которых роют, плотью бляя.
Иван, я помню потный труд.

О, этот миг, когда, зажата,
сопротивление смирив,
она вдыхает пот солдата
из будущего, от обхвата
в себе почувствовав прилив.

О, этот миг, когда насилье
замрет моей Беловой встречу,
и вот в углу с повисшей пылью
молчанье, солнце, изобилье
секунд, не могущих истечь.

Александр

Выходит Александр-копьеметатель,
самоуверен, мускулист,
голубоглаз, он весь артист
замаха и прекрасных дам ласкатель.

Заворожен наклонный профиль далью,
рука откинута, разбег,
ног перебор, копыя навек
лёт быстроблещущей горизонталью.

И смотрит златокудрая: вальяжный,
идет, закончив бранный труд,
а наконечник входит в грунт
плотномягчайший, травянистовлажный.

Шарманка (1)

*время — манная крупа,
крупные пакеты,
грецких шлемов скорлупа,
елочкой паркеты,
время шкафчик отворить,
сухари нашарить,
время вермишель варить,
шкварки жарить,
обваливать в муке желток,
вычесть в чашку,
в коридоре счетчик, ток,
в нем вращающийся*

Иван Иванович

И ты, Иван Иванович, потихоньку
и помаленьку,
давай-ка с палочкой, навывкате глаза,
глаза навывкате (а дворничиху Соньку
и мужа Сеньку
запустим стороной, как бы гроза,

грозящая тебе, Иван Иванович), —
на середину!
О Нестор, брызжущий слюною, похабель
для юных воинов дробливых, глядя на ночь,
воспенив ргину,
среди марта кутающийся в шинель,

давай, гони ее сюда на сцену,
всади по локоть,
рукою руку преломив и сделав жест,
высвобождая юных воинов из плена, —
о, эта похоть —
воображенщина дробливых ест!

«Мой, — говорит он, — дядя самых честных,
когда не в шутку,
он по сих пор заправил дворничихе — так,
что дворник вытащить не мог», — от этих тесных
сношений чутко
вострились ушки и твердел пустяк.

«А то еще, — он говорит, — с одною
идем на площадь,
а я моряк, а ночь и мрак, а девка смак,
и вдруг она на спинку бряк и вверх копною,
и ржет как лошадь».
«У-у, — люто зыблется, — какой стояк!»

Ах ты, Иван Иваныч, ах, Амелин,
мудак в запасе,
ведь Сонька с Сенькою тебя подстерегли
в парадняке и задушили, Нестор-эллин.
Никто не спасся.
Нет дворников и пропиты рубли.

Но в небе юноша летит весеннем,
сорвавшись с ветки,
и копыеносец разбегается с копьем,
и по земле копые несется тонкотеньем,
и счастье в клетке
Серебрякова бьется воробьем.

Матвеев

Пошатываясь, капитан Матвеев
ширинку расстегнет и, на луну
уставясь и струей златой прорев
во тьме, споет ей «Широку страну».

Он весь из рюмочной, где пол-яичка
и килечку кладут на хлебце,
а после третьей вспыхивает спичка
и полон ум таинственных нелепиц.

Алёна-дочь с женою Софьей Палной
уж верно спят, уж полночь на дворе,
и вот уж капитан опальный
сам спит, храпя под мухой в янтаре,

на кухне, не раздевшись, в кресле,
развесив руки и главой опав
на грудь, — так вот он, крестный
твой путь, Матвеев, о, ты пьян и прав!

Сегодня ты решил задачу смерти,
забыв немедленно, как ты решил ее, —
мелькнуло: так же с остановкой сердца:
стук — бытие, нестук — небытие.

И легкость словно бы надула китель
и вознесла тебя под облака.
Дочь-школьница, Матвеев-небожитель
и Софья Пална с видом на века.

Тарховка (А)

Произрастения земли
и солнца захождения
непреходящий смысл несли
за телограждения.
Когда я с Юдиной вдвоем
стоял в полуобъятии,
тритон, замерив водоем,
лежал там как распятие.
И голубь, с Ноевых высот
слетев, всем Духом заново
явился Иордану вод
и зренью Иоаннову.
И он приноровил родство
свое ко мне бесценное
и вдунул жизни вещество
в лице моё, в лице моё.

Веранда бытия (а)

двери дверные
трели чудесные
скрипы лесные
звери земные
птицы небесные
рыбы морские

Классная баллада

Вержиковский сидит за Покровским,
три колонки, да первый урок,
да слепым Николаем Островским
худосочно-зачатый денек.

За последнею партою Мосин,
он читает «Кон-Тики» тайком,
это ранняя, думаю, осень,
так что думаю я не о том.

Пусть к доске нынче выйдет Елькова,
пусть расскажет чего наизусть,
я на поле смотрю Куликово
за окном. Поражение. Грусть.

Извлеки мне двусмысленный корень
или в степень меня возведи,
душно мне, я в себе закупóрен,
возраст держит меня взаперти.

Вержиковский достанет свой ножик
и Покровскому в спину воткнет
за Ларису Дьячук. Сколько ножек!
И ведь каждая линию гнет!

И Лариса при ножках и с грудью,
и она возбуждает уже,
и склоняет людей к рукоблудью,
и любовь пробуждает в душе.

На собрании спросит директор,
осуждаем поступок ли мы.
Я не знаю, мне надобен вектор,
Вержиковский — мой друг с той зимы.

Ты на двух, говорит она, стульях,
Романовский, сидишь, говорит.
Стыдно мне, уж пушок есть на скулях,
а двуличен. В зеницах пестрит.

Осень туберкулезная наша!
Ты, Измайлов, за лето подрос.
То-то, видимо, плакала Саша,
когда лес вырубали берез.

Шарманка (2)

*в нем вращающийся
вращающийся с красной
меткой диска серебра,
с мельком цифры разной,
красный день календаря,
время отрывное,
время в стремя сентября,
в однокоренное,
просыпай секунды, сыпь,
как крупу, сквозь сито,
время-корь и время-сыпь,
время шито-крыто*

Первое сентября

Аллея
и дворик типичный,
линейка
у серокирпичной,

и астры,
их запах сентябрьский,
прекрасный,
как голос, Синявский,

футбольный,
твой голос плацкартный,
и сольный
проход Эдуарда,

и лучик
из зелени боком,
как лучник
с зажмуренным оком,

уклейка
в извиве горящем,
калека
в вагоне курящем,

и лето,
и, пыльный и бывший,
столб света,
вагоны пробивший,

взять на зуб,
на ощупь и зреньем
ту насыпь
с ее озареньем,

и солнце
в песчаном разбросе,
как голос:
умножу, не бойся,

умножу
песчинки прилива,
и ношу
ты примешь, счастливый, —

и только
все грани мелькнули
осколка,
как нас умыкнули.

Философия I

Надо быть себя мгновенней,
чтобы подвиг совершить,
пусть решимость дуновений
ветра научает жить.
Всплеск души твоей не может
быть неправильным, душа
прежних мыслей не итожит,
умностью не дорожа,
и никто не господин ей:
ни философ, ни пророк,
проблеск в тонком слове «иней»
с ней сравним наискосок,
или вздрог вдоль слова «искра».
Ослепительно-ясна,
только проповедью быстрой
жизни высится она.

Историчка

Агнесса Львовна кривляется,
передразнивая Иванова,
и окрыляется,
и кривляется снова,

она стоит подбоченясь,
и вокруг свеченье с
пылью мела,
Агнесса Львовна изгибает тело,

класс хохочет, урока
трать минуты, играй уroda,
в кубе воздуха тридцать три
человека с душой внутри,

Иванов с поршневою
возится ручкой, фрамуга
гарью залеплена с синевою,
и посматривают друг на друга

Корабейникова и Радостев,
не по возрасту радостев
половых знатоки,
да урчат в углах стояки,

да Агнесса Львовна,
Иванов она словно,
идиотничает в кривом пылу
жизни, да на полу

под доскою,
как солдат под Москвою,
тряпка лежит убитая,
окончательная, не даровитая.

Лирическое отступление

Спросишь ли, зачем фамилий
столько в книге и имен?
Я любитель изобилий
исчезающих времен.
Скажешь ли, что ностальгия?
Нет. Я чистый лицедей.
Так считай же, до скольких я
довежу число людей,
восторгающихся ранним
утром, поздней ли порой
моим светлым дарованьем,
не закопанным в сырой.

Цикада

Двор, богиня, воспой с полукружием амфитеатра,
окнами нисходящего к саду с песочницей. Так!
Ночью становится он цирка ареной с незримым
карточным фокусником, раскладывающим пасьянс:
окна то дамою вспыхнут, то королем, то валетом.
Утром раззолотится в них солнце, залюбовавшись собой.
После уж Дмитрий в плесницах, подобно Гефесту, умелец,
выйдет и лук смастерит и остроконечные стрелы.
(Сына Петрова трусливопобежного как-то, прицелясь,
он поразит, и в прыжке над песочницей жертва повиснет
в пятке с Гефеста стрелой и с мольбой на устах о пощаде.)
Позже и Люся придет, и они удалятся в глубины
сада, где нет никого, но однажды среди летнего полдня
я их увижу, лежащих в объятиях пылких друг друга:
быстро под ними земля возрастила цветущие травы,
лотос росистый, шафран и цветы гиацинты густые,
гибкие, кои богов от земли высоко подымали.
Там опочили они, и одел почивающих облак
пышный, золотой, из которого капала светлая влага.

Шарманка (3)

*деревянный гриб с носком,
время, мама, штопка,
папа, праздники, партком,
на комодѣ стопка
годовалая газет,
молоко на плитку,
повернуть ушко на свет,
послюнявить нитку,
за окном ночной трофей:
мокрых листьѣв ворох,
точит когти котопей
на мышиный шорох*

Вечер

На третье в ночь. И тут же, третьего,
иду, и где-то за спиной
брат и сестра плывут Терентьевы,
обнявшись в ласточке двойной.
Каток полурасчищен Сонькою
и Сенькой, деревянный шарк
лопат доносится сквозь тонкую
снег-пелену, и чуден шаг.
Вечерние и благосклонные
часы прогулок и гостей,
висят продукты законные,
промерзнув до мозга костей.
На третье в ночь. О, вечер третьего,
и переулочек за Сенной
(Гривцова, что ли? да, воспеть его!),
и снег стеной, и снег стеной.
Со мною Леночка Егорова,
прекрасна и мгновенна плоть,
есть с чем расстаться мне, до скорого,
я говорю Тебе, Господь.

Ночь

Чашки голубого снега,
северный фарфор,
послепраздничный ночлега
дом, и в окнах — двор,

лежа в радости простуды,
слышишь: ночь не спит
и под мертвый звон посуды
над столом висит,

над катком висит, и дальше,
и уходит ввысь,
спи, не слушай, мой редчайший,
гости разошлись,

а уж сколько было там их,
чудных, где, светла,
веселилась влага в граммах
рюмочек стола,

а уж сколько их топталось,
от подошвы снег
таял, таял, талость, талость,
разошлись навек,

светом из сосудов неба —
белого зерна,
медленных хранилищ снега
ночь — озарена.

Тарховка (В)

О Юдина, о полуобнятость,
уйдешь, тебя недораздев,
и эту общую приподнятость
несешь среди огненных деревьев.
О Юдина, часами поздними
я шел домой и думал так:
запомню навсегда под соснами
вмягчающийся в иглы шаг.
И ты представь себе: запомнилось
не столько то, чем сердце полнилось, —
веранда светит, как фонарь
китайский, и ночная гарь,
и зубки белыми ягнятами,
и мед из уст твоих, и мед
под языком, и ароматами
Ливана дышит алый рот.
И если бы не пошлость, родинку
воспел над верхнею губой,
как пел рождественскую родинку
покойный Сири́н, бог с тобой,
и с Буниным, и с их лилеями.
Гуляя темными аллеями,
авось сумею прах добыть
и пере- нас -захоронить.

Процесс

Торжеств юнейших тел,
касаний их и трений
участник, я грубел
по ходу тех мгновений,
и проникал туда,
куда хотел проникнуть,
чтобы, огонь стыда
уняв, к себе привыкнуть,
ах, греческий божок
во мне другой разжег
огонь, труби, рожок,
и поднимай флажок,
ах, семяизверженье
прекрасно тем, что мозг
в нем терпит поражение,
расплавившись как воск,
чем жарче в черепной
коробке, как в плавильне,
тем и оно в цепной
реакции обильней,
тем изойдешь сильней,
переплавляя порчу
рассудка в жизнь и почву,
пресуществившись в ней.

Шарманка (4)

*время, шорохи на дне
дома, лампа, темен
след от фото на стене,
мел каменоломен
городских, и снега мел
дуновеньем с жести
подоконника слетел,
козырь окон — крести,
за окном сизарь дрожит,
пригубивший пригубь,
да закатный луч лежит
как победный прикуп*

Урок русского/литературы

Реальность явна, как корабль,
входящий в порт. Непререкаемо.
Сверканием по борту капль
и разгребаньем грабль река ему.
Реальность видит, как смотрю
в ее лицо, и так же пристально
глядит на явленность мою.
В упор глядеть она и призвана.
Четыре серых и весна.
На третье в ночь, и одноногие
в порту краны́ — цапль прямизна —
чуть в области травматологии.
И есть еще ночной бинокль,
где мир един в своей бесценности,
как если б пострадавших вопль
возник в гудке басовой цельности.
Как цапли две воды, тот сноб,
похожий на тебя, — на выдаче,
как ты, получит каплю в лоб,
на грабли ставши Леонидыча.
И гласной праведной внушит
всему стихотворенью правильность
тройную, как втройне защит
кристалл в оправленность.

На дачу

Ночная электричка с лязгом.
С искрой азарта.
У паровоза на Финляндском.
Ту-ту. До завтра.

Летят небесные атласы.
Лязг с нарастаньем.
У бюста Ленина. У кассы.
Под расписаньем.

Вагонная скамейка с лоском,
и в черном чаде
мельк полустанков. За киоском
«Союзпечати».

Союзпечали видеть тамбур
слеза мешает.
Пусть ударения каламбур
акцент смещает.

У паровоза. Здравствуй, Ленин!
У бюста. Чувство,
что ты кристален и вселенен,
король Убюста.

Нет, нет, неправда, до абсурда
еще далёко,
и красит нежным цветом утро
любимой око.

Рябинкова и Антон

Сношений первых воплощенный
друг-Рябинкова
так прыгает на неученый,
небестолкова,

и так, любезная, елозит,
что неумелый
вот-вот сработает и вбросит
ей плазму в тело.

Развратница неотразима
в своей атаке,
как будто это Хиросима
и Нагасаки.

Ей мало в пламенной свободе
седлать и шпарить,
ей что-то надо, что-то вроде
догнать-ударить.

В каких хоромах состоялось
твое паденье?
Где неученому стоялось?
Ночное бденье!

Полоска в талии загара
со следом скруток
резиночки, и круглых пара
в ладонях грудок,

и потолок в итоге плоский,
и смерть забавам,
и простыня, как флаг японский,
с пятном кровавым.

Веранда бытия (б)

твердость скалы
верткость змеи
рьяность огня
рваность зари
ствольность сосны
вольность меня

Под Новый год

В окне проезжие разбросы
волнообразных и бескрайних
снегов увидишь и раскосый
зеленогранник,

в чуть затуманенных, забитых
слюдою наледи, в которых
зеленогранник-ель и выдох
жилья в повторах,

в волнообразных и проезжих
полях мелькнет — и ты увидишь —
огонь, как золотой орешек,
вдали и выйдешь.

И вот она, платформа, хрустом
и вмятиной дана подошвы,
и дальше — сказанные чувством
снега: роскошны.

За мелкою решеткой (надпись
читаешь: «Горьковская») в свите
стоят деревья, как я рад из
вагона выйти

и знать, витой и синеватой
идя тропинкою на дачу,
что позже стих витиеватый
на них потрачу,

что лучший из поэтов в помощь
мне даст жизнелюбивой силы
и что со мною будет в полночь
любовь Леилы.

Шарманка (5)

*рано утром все ушли,
вечером вернулись,
лампы в комнатах зажгли,
выжить извернулись!
Молится, летая, моль
над роялем,
грустная, как си-бемоль,
над лялялем,
в ноты глядя, точно в даль,
ворожит сестрица,
нажимая на педаль,
чтобы звуком длиться*

После школы

После полдня, от часа до двух,
возвратимся из школы.
Только нот мне не надо, на слух
проспрягаю глаголы.
Исключения — «гнать» и «держать»,
содержаньем убоги.
Будет время — отвыкнем дрожать.
Преломив слово в слоге,
с полуслова друг друга пойдем,
и святое безделье,
обеззвучив, устроит объем
как святое бестелье.
Так уж запах нам пота присущ,
страх провала неумный?
Легче, легче, приверженец куц
райских, ангел бесшумный!

Пение и рисование

Весны подай сюда, но с фикусом — весны!
Пусть Пасынкова и Панфёров
всей потностью дохнут возни, —
иду на шорох.

Что впереди у нас, что впереди у нас?
Учительница, научи нас.
Кто у дороги, раскричась?
О, это чибис!

Уроков пения и рисованья вдох,
с промытым небом над котельной, —
иконостас из синих трех
первоапрельной.

Еще веревки, но с узлами, но фрамуг,
раззявивших косые пасти,
тяни, мой маленький, мой Мук,
и рви на части.

Вскрывая окна с треском, фикуса балласт —
вот фокус! — за борт, в кучи угля!
Панфёров, дай ей грубых ласк,
ее раскукля.

Чулок с резинкою мелькнет и край трусов,
дверь, распахнувшись, включит тягу,
ветр путаницей парусов
взметнет бумагу.

В весну — пока по позвонку бежит звонок —
первоапрельную кричи «бис!»,
лети мне в клювике цветок,
волнуясь, чибис!

Времена года

Вот Мельникова Ира
сидит в луче косом,
струящемся как лира.
Свет солнца невесом.
С ней рядом Белякова,
алеет галстук-шелк,
она *всегда готова*.
Свет вспыхнул и умолк.
Васильеву Наталью
отсадят от меня.
Октябрь дохнёт печалью,
осадки урона.
Любители кальянов
под дождик задымят.
Родненко, Емельянов.
Болгарский аромат.
Достать из пачки «Шипки»
одну и закурить,
увидев зимней зыбки
качнувшуюся нить.
Иль затянуться «Солнцем» —
и к форточке потек
сloyащимся уклонцем
синеющий дымок.
Потом, сугроб угробив,
приходят март, апрель,
и ты меняешь обувь,
носимую досель.

Потом гремят потоки
из водосточных труб,
и, прибывая, соки
квадрат возводят в куб.
Из девичьего мира
иди ко мне: любя
к тебе приближусь, Ира,
и обйму тебя.

Импровизация

Узнаю вокзал я Витебский,
помню, помню, на вокзал
за киоском тем, за вывеской
той малёванной шагал,

за квадратом красным, черным ли
мимобежного окна
жизнь ютилась, утки челнами
чуть покачивались на,

там жила моя любимая
в царскосельскости своей,
свежесть непоколебимая
мартом веяла ветвей,

ветви веяли дрожанием,
воздух в искренности был
собственным неподражанием,
леонидовичем сил,

но особенно вечерними
привкус гари был хорош,
сигарет и спичек серными
огоньками вспыхнув сплошь,

и летел по небу огненный
за составом след души,
с кисти жалостной уроненный
живописца из глуши,

ах ты, Витебский, немисливо
мне сегодня проезжать
все, что вижу, и, завистливо
в полночь выглянув, дрожать,

и заглядывать за грань тоски,
с верхней полки спрыгнув жить.
Так ли, так ли, милый Анненский?
Выйдем в тамбур покурить.

Философия II

Прими, грядущее, забывчивость
мою! Как ветви в голубом
плывут, забыв ветров забывчивость,
так, память, мы с тобой гребем:
спиною к финишной ленточке
на финишной из прямых,
по Малой Невке (той же Леточке),
при чувствах праздничных, при них.
Лицом к тому, что удаляется,
но проясняясь. То-то мрак
тобой и мной наутоляется,
когда, устав, затихнем, как, —
в колени лбы уткнув, угробившись
в дым на дистанции, в клочках
небесных вод, утробно сгорбившись, —
гребцы, — горошины в стручках.

Шарманка (6)

*рыщет ли попятный тать?
свистоплящут черти?
Ничего не должен знать
человек о смерти.
Не его это ума
дело, без участия
человека смерть сама
разберет на части.
Поплывет душа, от нас
отделясь, над нами
слухом уха, зреньем глаз,
насыщена днями.*

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

На юге

Стих вьется — виноград, терраса,
над морем акробатка-радуга, —
пробежками аллитераций —
длиною в два-три слова — радуя.

На «эл», на «эф», на «и», на «цэ», на «ю»,
насквозь светящуюся гостью,
всю алфавитицу бесценную
увидю розоватой гроздью.

И косточки из гласной мякоти
зреть будут мир, и в дробном взоре
согласных — с вольностью грамматики —
вскипит и усмирится море.

Ночь

Дежурный чай. Сиди, немей. Длинна
ночь. Безусловный воздух свеж.
Кому ты говоришь: немедленно
меня утешь?

О смерти не пытай. А то еще
сойдет с невидимой оси, —
и не услышишь голос, тонущий
в ночи: спаси.

Я знаю, ангел мой: тоска. Давай
без темных таинств. Продержись
в своем уме и не разгадывай
свою не-жизнь,

где не вдохнешь ни ночь, ни таянье
снегов, ни даже эту тишь
с чайнкой чистого отчаянья
не ощутишь.

Неоспоримых звезд раздрызг, и на
ветвях сверканье, и не смей
пускаться в пряный бред изысканный.
Сиди, немей.

Прогулка

В осеннем воздухе знобящем,
да в сером городе болящем,
да в переулочке глухом
аттракцион маячит шатко —
«Качающаяся лошадка».
Дитя верхом.

А дальше чуть, на тротуаре,
в пантомимическом угаре,
сидит дурак и мечет взор.
Сиди себе, жестикулируй,
веди с невидимою лирой
свой разговор.

Змею погибели на впалой
груди пригрев, с листвой линиялой
в своих лохмотьях заодно,
шипит: другого-то не сыщешь
нигде, ты слышишь?
Мне все равно.

Другого? Сам себе не ровня,
спокойнее и хладнокровней
смотрю извне,
как жизни маленькие смерти —
секундный шаг в осеннем свете —
идут во мне.

В пехотный холод снаряжайся,
непререкаемый мой брат.
Я говорю листве: снижайся! —
она снижается. Я рад.

Сзываю белок узкомордых,
они как буковки на вид,
а то еще журавль в ботфортах
прощальным образом стоит.

Беспрекословный брат! Кочуя,
где славишь царственный удел?
Поверишь ли, вчера, не чуя
себя, летал над миром тел.

Когда в небесный край нас примут,
когда из розничных забав
телесно бедственных изымут, —
не будет ли Всесильный прав?

Сегодня тихо и свежайше
дохнуло холодом с холма.
Я снегу говорю: снежайся!
И он снежается. Зима.

На фоне города

Человек вращает яблока полуогрызок
средним пальцем и большим,
указательный к ним тоже близок,
белозубый человек непостижим.

У автобуса прощаются ступенек
молодые, обострившимся лицом
плачет девушка, и глаз ее, как пленник,
скорбно смотрит над его плечом.

И поет нежданно женщина проездом,
серебрится поезд в темноте,
никому своим весельем бесполезным
зла не делает, и нет его нигде.

Толстой

Я с точностью объемной лепки стойкой
мир запущу,
следи за небывалой стройкой
и стайкой птиц, летящих сквозь
каркас, за размышлением, плющу
подобно, вьющимся, — и восхитимся врозь.

Пожалте в человеческий зверинец!
Вот мягкий вплыл
хозяин, а жена, мизинец
оставив, попивает чай,
румяный рот красавца, пряный пыл
и вздор политика, — а рядом? — привечай

того, кто всех окажется сердечней,
кто отведет
в смущении свой взгляд от встречной
неправды, от того ли, как
рассевшись в кресле, шутит идиот,
в лорнет рассматривая собственный башмак.

Расти, спокойный дом гостеприимства,
где вечера,
и пунш, и столики для виста,
и всплеск из детской голосов —
два брата, две сестры, еще сестра, —
и эхом всплеска отзовется бой часов.

Пусть кто-нибудь весной воскликнет: «Лёгко!»
И следом мне
напишется так многооко:
«Он отворил окно», — и вдох,
отраднѣй вдох, и силуэт в окне,
и голос девичий, — все станет ясно: Бог.

Тогда я двину войско против войска,
и роевой
закон движения (повозка
в грязи, солдат налег плечом)
мир обезличит песней строевой
и общим — в нервном оживлении — лицом.

Следи, как я отстрою мир громадный
на пустыре,
оставив средь пролетов мятнѣй
трав аромат, в июльскѣй день
начав, когда, упорствуя в жаре,
дуб оживет листвою, — и дрогнет светотень.

Вот здесь он и умрет, на этом месте.
И если грех,
то — гордости ума и чести, —
взглянув с презреньем и пожав
плечами, ибо на глазах у всех
нельзя иначе. Так! И в смерти моложав.

Нежно-насмешливый с ним прекратится
двусложный взгляд,
но переливчатый родится
в двойном определенье звук
и сопряжет цветенье и распад.
Нежно-насмешливый, прощай, геройскѣй друг.

Смотри, как я свяжу намеки, жесты,
обмолвки, сны,
мужской театр войны и женский —
сочувствия, смешав их кровь, —
в единый узел, в прозу новизны,
в судеб скрещение, — и восхитимся вновь!

И вновь заложником безликой силы
предстанет мой
герой рассеянный и милый,
и торопливость палачей,
их рук, увидит, и расстрел самой,
сугубой, дышащей, мгновенье — и ничьей,

божественной, великолепной, явной,
не может быть,
чтобы моей, простой, бесславной,
живущей жизни. Что ж, мой свет,
бессмертная душа, учись любить
без той привязанности, без которой нет

любви. Но есть. Когда читаешь неба
ночную синь
как книгу бытия, то где бы
вчера ты ни прервался, ты
находишь то, что тверже всех твердынь,
все в той же ясности, в обвале немоты.

Когда-нибудь, уже постигнув книгу
насквозь, до дна,
осилив мощную квадригу,
в печальнейший, быть может, час,
ты не найдешь ее, и чья вина,
скажи, что мир исчез и обошлись без нас?

Есть здравый смысл посредственности, он-то
непобедим, —
его ухватистость животна,
есть продолжение рода, есть
растительная страсть, есть прах и дым.
Не в них ли и пресуществился мир? Бог весть.

Покупка

Я вышел выйти,
потом в рассеянности сбоку
ненужную купил вещицу,
забыл какую,

осеннее ласкалось солнце
котенком неба,
«мяу...» — окликнуло, но дальше
опять не помню,

вещицей оказаться море
могло, — так в блеске
глухонемое
и в тишине лежит — ни всплеска,

и сам себе
воздушной почтой
я переслал его, чтоб стало синеве
без мысли проще.

Начало зимы

Фигурка глиняная в кресле,
в изменчивых объятых белых.
Электропередачи крестный
ход мимо дома престарелых.

Вот в кресле привстает калека
и Господа о чем-то просит,
и вертикальный ветер эль греко
вдруг вытянутого уносит.

Лети, приятель-сновиденье!
Во славу небосвод расколот
тебя и резкого паденья
температуры. Ясный холод.

Случается, днем переулочным
катают больное дитя.
Столкнешься со взглядом придурочным,
и слезы задушат тебя, —

так бродится зябко в тиши ему,
как если б он был обращен
всей нежностью к Непостижимому,
отвергнут и тут же прощен.

Памяти Льва Дановского

Как до тебя, оставшегося впереди,
намеренным, или случайным,
или чрезмерным словом, но дойти,
избыточным и чрезвычайным?

Рехнувшееся ремесло.

Как если бы слепой стекольщик
алмазом воздух резал как стекло,
полотен световых раскройщик,

и мнимые квадраты полотна
оконного, ощупывая небо,
отбрасывал и близил отсверк дна,
и вдруг — добыл его и озарился слепо.

Женщина смотрит на беглые очертанья
облака, на летящее его таянье,
щурился, говорит: он там.
— Где? — Вон там.

Это утро на финском
взморье, сосновом, близком.

Мальчик, завернутый в махровое полотенце,
и полусолнце из полудетства.
Он балансирует на одной ноге
невдалеке.

Это первые затеванья
возраста: переодеванье.

Девочка на прибрежной
полосе тут как тут, —
от одного песчаного замка нежный
танец к другому, бабочки необязательный труд.

Это тельца ее свеченье,
это первый укол влеченья.

День измеряется тиканьем
на мелководе мальков,
с их прозрачным и тихоньким
тиком и позвоночной извёртливостью рывков.

Это первые выпаденья
в Его владенья.

День измеряется перебиранием
ягод вечером ранним,
отрыванием звёздчатой зелени
от клубники и обнажением ее белокруглой лени.

Это первые утоленья
взгляда на облако в отдаленье.

Моей сестре Инне

Мы остались на поверхности земли
колыбельной песней для того,
кто ушел, кто дальше, чем вдали,
кто утратил жизни вещество.

Как дитя укладывает спать,
наклонясь над колыбелью, мать,
так и мы с тобою жить должны,
над землей склоняясь, навсегда нежны.

Видишь, спящего и сон не разделить, —
слухом стань и поступишь собой,
чтобы сетованьем не будить
тайного безволия покой.

Мать отводит истощенный взгляд
на окно, на законный сад, —
ни живой ни мертвый, он притих,
словно там отсутствие сошлось двоих.

Возьмите летящего вдоль воробья,
его совершенный комок, —
он сделан как будто за миг до вранья,
ему человек невдомек.
Возьмите сидящего вдаль воробья
на ветке, протянутой вбок, —
он сделан из тоненького тряпья,
которое дал ему Бог.
А если воробей умрет, его из глины
Исус обратным обжигом творит
и выпускает в воздух, в вечер длинный, —
и он летит.

Астролябия жизни

На свете счастья...

А. С. Пушкин

В серенький день
оказаться в Царском Селе,
в серенький, ты не спорь, моя тень, —
я в полухолоде, ты в полутепле,

выпив, конечно, иначе-то
как бы увидел себя
счастьем, которое только что начато,
черная в блестках скамья.

В серенький день
пробрести меж дворцовых камней.
Это работа на местности, тень,
и астролябия жизни моей.

Астр тяжелый букет
от привокзальной нести
площади, каплющей на просвет
и освещенной капельницами к шести.

В колбе, которую царственный Сам
держит, дышать и на ней
видеть по выгнутым небесам
будущий промельк огней,

высветивших чуть заметного
в центре как остановленный кадр.
Разве на свете нет его?
Нет, Александр?

Ода одуванчику

На задворках, проложенных сланцевым
светом, — вот он, на глянцевом
стебле. Воткнут.

Воткнут. Сорван, — змеиное молоко —
тонкий обод, —
бел и легок как облако,
распыления опыт, —
вот он, дóбыт.

Точно лампу, несу его медленно,
мне так долго не велено, —
вечереет, —
вечереет вчерне, — мне не велено.

В небе реет
то, что прахом развеяно
на земле, быстрый лепет.
Но не греет.

Долго так не гуляй, мальчик с лампою.
Эту оду я нам пою.

Эта ода
Одуванчику, слепку и копии
небосвода,
и себе в том раскопе, и —
мне там трижды три года —
жизни ода.

Шевельнись — и слетит с Одуванчика
пух, с цветка-неудачника.

Помню шепот
мамы: «...роды...» — (о тетушке) — «...умерла».
Села штопать.
Или, скажем, пол подмела.
Распыления опыт.
Вот он, дббыт.

Точно лампу, моргнувшую на весу,
на пустырь его вынесу,
и вот-вот свет
Одуванчика сгинет безропотно.
Там, где нас нет.
Дуй! — он дернется крохотно, —
в мире что-нибудь лязгнет, —
и погаснет.

Начало

Давай готовиться. Уложим готовальню:
рейсфедер, циркуль, транспортир.
Путь дальний.
Вот измеритель. Вот пустырь.

Пространство белое зимы, шершавый ватман,
пенал, набор иглолок, тушь.
Слух ватный
после болезни, в горле сушь.

У кочегарки свален уголь. Вот угольник.
С крест-накрест шарфом на спине
невольник
рассмотрит карту на стене.

Все концентрические трещины в паучьем
порядке перед ним рябят.
Заучим
райцентров имена, мой брат.

Давай готовиться. Горит с подщелком тара.
Ты из какого, кингисепп,
кошмара?
Иль это сланцы? Я ослеп.

Мне тосно в киришах, рычит на тихвин волхов
и колтуши лежат ничком.
Ни вдоха.
Ни даже признака ни в ком.

Нет никакого выбора в металлострое.
Откуда взялся этот бред?
Сырое
пространство, проездной билет.

В калошах хлюпает. Зима слаба в коленках.
Вот кинохроники с утра
на лентах
мерцанье страха. Мне пора.

Фонарно-точечный. Неоново-фонарный.
От горя к горю перебег
угарный.
Гарь времени легла на снег.

Посадки-допуски, тиски, напильник, фаски,
желто-ремонтных мастерских
две фрески, —
полуподвальных окон дых.

Когда с посадочным, уже затеяв бегство
от производственных резцов,
от бедствий
труда и лозунгов отцов,

заходишь в слякотный вокзал гудящих пазух —
вокал бетона и стекла
в запасах
тоски велик, сиянье, мгла —

и в тамбур лузганный, перешагнув расщелье,
с платформы входишь, — нет тебе
прощенья
в повиновении судьбе.

В голове у голубя
нет воображаемых картин,
в сизой треугольной проруби
с лапками «три дробь один».

Только льдинка глаза вертится:
то что есть точь-в-точь я то что есть, —
азбукой морозной светится
не от мира весть.

Я более люблю
всего, когда врасплох
из ничего ловлю
сознания сполох.

Оттуда, где привык
не быть, из ничего —
краеугольный сдвиг
в земное существо, —

я более люблю
вещественную весть
его, чем жизнь саму.
Он лучшее, что есть.

А ночи не страшись
и утра не проси,
рукою дотянись
и лампу погаси.

Исчезновение

Был праздник, шли крикливые латинос,
визжала санитарная сирена,
и площади в огнях цвела арена
(в один из дней, в один из дней, в один из).

И вдруг все истончилось, мимоходом,
и, нежная, из праздничного гула,
день обезличивая, ночь прильнула
(да что там ночь, да что там),

и из окна романс донесся: «Если,
как звезды, мы с тобою отпылали,
была ли жизнь, была ли, ла-ли, ла-ли?
И есть ли, есть ли?»

Пока там некто пел, точнее — пепел,
я бросился к витринной черной плешу,
где должен был бы встречным быть себе же,
но не был.

ЛАДЕЙНЫЙ ЭНДШПИЛЬ

Событие жизни

Жарким полднем в Феодосии,
по пути на море или с моря —
в ослепительном оно разбросе
и в замедленном теперь повторе, —
в магазине «Канцелярские товары» —
глобусы, карандаши, тетради, —
иоселиани волн пасет отары,
обесмыслив на секунду, ради
вспышки световой, повествовань, —
тишина, какая-нибудь муха,
все оцепененье мира на свиданье
с детством зрения и слуха, —
темные очки, открытки, ласты,
перочинные ножи, игральные
карты, зонтики, зубные пасты, —
блики моресновиденья дальние,
из боспорского родясь и царского
полдня, чуть прикроешь веки, —
там вонзился запах канцелярского
ужаса вещей в меня навеки.

Тень

Чтение книги в квартире пустой
вдруг прервали шаги.
Кто мелькнул в коридоре, постой.
Никого в коридоре. Ни зги.
Кто прошел к
то ли зеркалу, то ли к тому,
чтобы рифма, как шелк,
приласкалась мелькнувшему.
Дышит смертная тень.
Столько скорбных родных,
под свою призывающих сень.
Ты утешная ль книга для них?
Бытие, точно с двух
перелистываясь сторон,
льнет к срединной странице, как слух.
Миг — и явь встретит сон.

Мгновенный снимок

День, как волнистый попугай,
пестр, зелен, золотист,
день вертится на жердочке. Слагай
пуховому гимнасту гимн, артист!
Мы сели на ступеньки всемером,
чтоб нас на память щелкнул
прохожий, и бесшумный гром
внезапно охнул.
Из дома вынесли не труп,
но полутруп; завернут в саван,
он пошевелеваньем губ
был праздничной потехе явлен.
Прохожий щелкнул, и в глазах
у каждого из нас зависли
носилки-жердочки. Пух-прах.
Задвинули и увезли из жизни.

Бинокль

Меня бинокль привлек,
и я купил бинокль.
Далекий мотылек,
ты так же одинок ль?

Ты так же близорук ль,
когда, надев очки
(твой взгляд — горящий уголь!),
глядишь в мои зрачки?

Простая сила линз —
и мы с тобой уже
не плоть, и желчь, и слизь,
но тихий гимн душе.

Фотография

Я вынул фотографию, портрет
того, которого на свете нет.
Потом убрал. Тень лампы колыхнулась,
и мне почудилось, что в ящике стола
отображенье задохнулось.
Как странно скорбь меня подстерегла!

Старик

Старик встает кряхтя.
Накинувши халат,
сластена и дитя,
он ищет мармелад.

На ощупь, в темноте,
он ищет и дрожит,
но он не помнит, где
он, собственно, лежит.

И явь настолько сон
и черное трюмо,
что *кто* здесь этот «он»
ему неведомо.

Слово

Наивным словом приголубленным,
с доверчивым однообразием,
последуем за миролюбием
вещей, за чистым их согласиём,

за их судьбою незапятнанной,
за музыкой касаний умною, —
они тоской по жизни спрятанной
за это заплатили, думаю,

как слово тихое, не вещее,
с послушной верою упрямою
плывущее на свет немеркнувший,
очерченный оконной рамою.

Стрижка

Там, за окном, как бы за сценою,
с небес слетает снег живой,
а здесь — охота за бесценною,
неповторимой головой.

В зеркальном озере, как лилия,
она плывет, а дальше чуть
горит береговая линия —
асфальтовый кремнистый путь.

Плывет, вдыхая, щурясь, нюхая,
покуда бритвенный прибор
жужжащею прицельной мухою
снимает стружку, вёртко-скор.

Забавен мир своими тельцами,
их прихотями что ни миг.
Парень ножниц над пришельцами
и распыленья быстрый пшик.

Завтрак

Бывает день, не день — свечение,
воспеть ли мне душой отрадную
яйца в кастрюльке кипячение
зимой январской аккуратною,

воспеть ли малость невзначайную:
треск наледи от шага пешего,
постукиванье ложкой чайною
по скорлупе яйца белейшего?

Стучи, стучи ему по темени,
ты вычтен из себя, и в разности
нет ни людей, ни даже времени...
Кого ты окликаешь в праздности?

На пороге

Войдешь — и темнота обступит.
Потом проявится окно
и свет вечерний приголубит.
Как бы колодезное дно.

Чем безымянней, тем дороже.
Где? не припомню... как сейчас,
я долгими стоял в прихожей
минутами не шевелясь,

в недавнем жизневоплощенье,
где опустевший дом притих...
Но нынешнее возвращенье
на проблеск явственной других,

на миллиграммовую гирьку,
призвякнувшую на весах,
к исчезновению впритирку
в странноприимных небесах.

Тост

Стóбит выпить ради мысли быстрой всякой,
ради происка ее неуследимого, —
наливай, мой колокольчик, звякай, звякай!
За летящего, а в сущности — летимого!

Видишь — морось водянистым виноградом
над безлюдной и бесчеловечной площадью... —
Ты взгляни своим отсутствующим взглядом,
как согласно растворюсь в небесной росчуди.

Там, за облаком, где мне заказан стольчик,
я забуду, что не справился с заданием
жизни, — звякай, непутевый колокольчик,
и приветствуй многодонным «до свиданием»!

Сон

вдруг рыба торкнулась в окно
висит и тычется
и как-то на сердце темно
почти что плачется
зачем пришла за чем за кем
глядит просительно
и мой испуг в ответ ей нем
так непростительно
то вверх то вбок юлит она
то вниз то вбок опять
всё по периметру окна
пришла молчком пытаться
молчит на то и рыбе рот
чтоб кругло узиться
и немотой дышать вперед
ночь совесть узница

Ночь на 3 апреля 2009 года

Льву Дановскому

С ожесточеньем, не каменный,
жил я в квартале от красной тюрьмы.
Дай-ка возьму этот ритм неприкаянный
на ночь взаимы.

«Робок ли сердцем ты? слаб ли ты силами?»
Как эту ночь переплыть?
Помню буксиры с их криками сиплыми.
Мост разводной не забыть.

Это Литейный, Литейный.
Выйдешь к реке — небосвод воспален
где-то над Биржей, где длится ладейный
эндшпиль Ростральных колонн.

Можно сказать, что на стогнах
тишь и чернехонько в окнах.

Стихли застольные пьяные гомоны.
Город-укур в распрявленной красе.
То ли уснули неправедным сном они,
то ли попрятались все.

Я, подневольным крещен понедельником,
помню предутренний свет.
Нас было трое, ты был нашим Дельвигом.
Первый, которого нет.

Этот мотив я затеял, не ведая,
что обращаюсь к тебе.
Осыпь апрельская, — время грохочет отпетое
льдом в водосточной трубе.

С похорон

О, «когито» блеснувший коготок,
вцепившийся в мое существованье,
застрявший в нем! Что значит слово «Бог»,
как не Его дыханье?

Что может быть прекраснее, чем снег
и дерево в ветвящемся ознобе?
Жизнь жительствоует, мертвый человек
не одинок во гробе.

Не новая ль звезда вонзилась в синь,
как бы с земли взметенная шутиха?
Не гаснет Твой небесный свет. Аминь.
Неотвратимо. Тихо.

Исток

Надо удержать момент незнания,
мысль к себе не подпустить, —
так подвешен маятник, до созиданья
времени, и неподвижна нить.

Так бывает в солнечном соборе, —
входишь с площади, и там, в тиши,
есть секунда до страстей-историй,
вписанных любовно в витражи.

Но пока не шелохнутся нити
и ни жалости, ни скорби нет,
подбирают для тебя наитье,
чтобы из незнания ты шагнул на свет.

Дитя возле пекарни

он стоит в окне смуглый бог
и раскатывает теста комок
скалкой быстрой до тоньшины
до песчаной белой его тишины
а потом он вертит в воздухе гибкий лист
цирковой артист
а потом он валяет его в муке
и висит раскатанный на большой руке
на руке большой мускулистой
вечер огненно-мглистый
вечер огненно-мглистый
я смотрю как он режет перец и помидор
как шинкует съедобный сор
натирает сыр смуглый бог красив
моцарелла мидии чернослив

как откроет он раскалённу печь
так во мне шевельнется речь
я хочу увидеть как из печи
пицца выедет круглая и мелькнет в ночи
полушарием карты мелькнет почти
погоди погоди
не тяни не могу наглядеться я
там италия это греция
тянет мама за руку неумолчно
млечный огненноночный
млечный огненноночный

путь над площадью противень раскален
по наклонной разгон
и всех запахов и цветов прилив
моцарелла мидии чернослив

Родители на закате дня

Когда б они взглянули на меня
сейчас, я эту мысль не подпускаю,
но прорывается, гоня
себя к неведомому краю,
точней — к тому, где я на них смотрю
и ничего не вижу, но в усилье
непререкаемом к ним путь торю,
как если б там, между небесной синью
и синью моря, что совсем слились,
увидел нить, как если б ухватиться
хотел и заглянуть за край... Проснись.
Или усни совсем — и прояснится.
И слышу голоса, они идут
по набережной, с ними мальчик,
«в ничто на свете не влюбленный...
темно-зеленый...»
крон остывает изумруд,
еще ни снов, ни мыслей мрачных,
и плещутся флажки на мачтах.

Стоп-кадр

Документальный фильм. Расстрел.
Вчера смотрел.

Толкают в яму,
допустим, Зяму.

Земля сыра.
В голове дыра.

Теперь стоит раскидистое дерево.
Поселок Зверев.

Ковчег

Крюк меж дверей, где упокоен хлам, —
две щетки, вакса, ношенная обувь,
тряпье, — дай выброшу, не дам,
закроемся, жизнь обособив,

проброс цепочки и щеколды щелк,
ковчег квартиры отплывает,
дай выброшу, не дам, я знаю толк
в руинах, голова пылает,

всего по паре: стариков, детей,
брюк, обуви, очков, перчаток...
есть что-нибудь от Ноя? нет вестей...
никто из них, в любви зачатых,

не выживет, никто, семья
проглочена ночной утробой...
вот только слез не надо, видишь, я
их всех забыл... Забыл. И ты попробуй.

Ночные вещи

1

На красном стуле, возле
дивана моего,
щелкнул копытцем ослик
Кузмин легко.
Я проснулся его увидеть,
но простыл и след,
только тихонько тикать
продолжает брегет.
Чудное происшествие
жизни. Зачем же спесь?
Не надо божественного.
Всё уже здесь.

2

Выгляни — снегоуборочный
работает комбайн,
полночью обморочной,
ископаемый тайн.
Площадь великолепная,
как хлопушка, пуста,
снега толпа безбилетная
целует комбайн в уста.

3

Вот в счастливейшем он позднем детстве
входит в комнату, — и тут
ему отдают салют
книги, стройные зеленогвардейцы.

Он лежит, и затуманивается блаженно
шрифт страниц,
и мерцанью зарниц
отвечает окно и стихает отдохновенно.

И сейчас, случается, спать я ложусь
и вслух улыбаюсь,
как будто влюбляюсь.
Неужели когда-то я этого счастья лишусь?

4

зеленого лука с бородкой пучок
лежит как китаец живой старичок
а репчатый тоже китаец
покатится желтый и станет катаец
а красные перцы
удобренных грядок округлые сердцы
а там багровеет гранат
своей скрупулезной зернистости рад
а там голова помидора
как жертва лежит термидора
и как дирижабли лежат баклажаны
и грузно арбузы одеты в пижамы

так ночью я умственным зреньем
прильнул к заболоцким твореньям

5

Вероятность родиться собой —
исключительный ноль,
нежный ноль голубой.
Но он выпростал ручку и, ею махнув, стал бемоль.

Воздух чист, головастик-бемоль
шевелинулся в воде,
жизнеюркая голь,
и трехкамерным сердцем забился на нотном листе.

ЧИТАЮЩИЙ РАСПИСАНИЕ

День ноябрьский

День ноябрьский, ветреный. Мне пора.
Подойду прочесть под мостом расписание.
За стеклом таракан полумертвый и номера
автобусов, прибывание и отбывание.

Ехать, ехать и ехать бы, не выходя,
ни о чем не думать, то есть не думать плохо
ни о чем, — не в этом ли смысл дождя,
солнца, дерева, облака, выдоха-вдоха?

Между двух городков ослепит река.
Я зажмурюсь, чтобы людей многоокость
не нашла меня, человек — он в тягость слегка,
а зажмуришься — сразу немного в легкость.

Ни за что, ни за что, ни за что бы не стал
разных страхов пугаться, если бы не мелькание
мыслей и перед глазами весь день не стоял
таракан, читающий расписание.

По досточке

Не смерть страшна, а расставание
с отдельно взятым человеком,
я космосу шлю завывание,
его рассыпанным в ночи аптекам,
пусть вышлет мне в ответ лекарство,
я буду принимать по горсточке,
чтоб в Божье перейти мне Царствие,
как лужу в детствии по досточке.

Бывает, снег идет

Бывает, снег идет — а с чем сравнить его
неукоснительное выпаденье?
По синеве идет как по наитию,
не передать — небесное виденье!
Бывает, не могу с виденьем справиться —
и выпью, а жена взбранится — вспыхну..
Теперь молчит смиренная красавица.
О, невозбранно выпью — и затихну.

Жена

Непоздний вечер. Восемь пятнадцать.
Жена ушла спать и прикрыла дверь.
Она сумасшедшая. Восемь шестнадцать.
На площади за окном отдыхает сквер.

Я слушаю ветер. Восемь семнадцать.
В него вплетается щебет птиц.
Жена любит каждый день просыпаться
и плыть на работу, где скопище лиц.

Она на чулочной фабрике двумя руками
девять часов шьет целый день,
им выдают зарплату иногда коврами,
мы отдаленно не знаем, куда их деть.

Она садится на пристани в белую лодку,
в пять десять отчаливает, пока я сплю.
Я поздно лег, я жалел жену-идiotку.
Я сам не знаю, как эту жизнь дотерплю.

В паре

С понедельника целиком забиваюсь я в тишину,
становясь опять перебежчиком от одних
выходных к другим: молчаливо жну,
что посеял, сею опять, заготавливаю жмых.

А жена забивается в свой за стеной отсек,
что-то мелет, просеивает, варит, ткет.
И соседи — стекольщик, молотобоец и дровосек —
не покладая рук работают, эти два и тот.

Нас с женою держит мысль на плаву,
что пойдем в выходные кормить в пруду
черепаху, — она из панцирной книги своей главу
выдлиняет морщинисто, просит дать еду.

Мы с женой не очень-то меж собой говорим,
только держимся за руки иногда,
а свободными — бросаем еду, и так стоим,
и слегка краснеем, если кто видит нас, от стыда.

Диктант

Синь беспредельна.
Воздух бесплотен.
Утро прицельно.
Вечер вольготен.

Отдых отраден.
Тяжесть несметна.
День беспощаден.
Ночь милосердна.

Радость животна.
Грусть человечна.
Жизнь мимолетна.
Смерть бесконечна.

Забытьё

Над газоном вспыхивают светлячки,
выше, ниже, наобум,
как шахтеры вылезли и на крючки
лампы вешают, забыв свой ум.
Вот вечерняя какая воркута
разворачивается в караганде,
я смотрю, смотрю в окно, смотрю туда —
где меня нигде.
Или то смертельно-тихий бой
душ давно в земле истлевших тел?
Обернешься — и вдогонку за собой.
На подножку прыгнешь разума — успел.

В поздний час

за окном игольчатый шпиль
это ель горит на закате
вот приходит жена вытирает пыль
вытирает пыль гладит платье

иногда смотрю на нее
совершенно стоит чужая
вот сгребает она постирать белье
жалость в сердце моем большая

но сказать что сблизило нас
не скажу в голове смешалось
а когда породнились сближались раз
даже больше за ночь сближались

помню мне казалось тогда
что мы тени друг друга
что в любви теряешь себя навсегда
видишь выбрались из недуга

и теперь мы странно стоим
на виду у пустой вселенной
а бывает сидим по углам своим
и молчим в тоске постепенной

Оборона

Раз в году или даже два
мы сидим в гостях или гости
к нам приходят, жена едва
их выносит, но терпит в злости.
Не двужильна. Душестоянье ей
тяжело дается, я слышу,
как она арматурой всей
скрипит, держит крышу.
Если ж спор у меня зайдет
с собеседником (я в подпитье
жарок и говорлив), а тот
обладает встречною прытью,
и меня пытается одолеть,
и меня в ответ распыляет,
тут жена всю грудную клетку
напрягает и громко лает.
Унижать меня ей одной
позволяется, а на прочих
лает остервенело, я ей родной,
из трущоб ее чернорабочих.
Разбегается по четырем ветрам
люди застольный, двужильный,
и разносится лай по дворам,
настигающий, сильный.

Орёл

Прилетела птица, сидит под окном,
перья вздыблены, смотрит вяло.
В человеческий рост. Я сказал потом:
«Кто сидит там?» Она сказала:
«Кто сидит?» Я сказал: «Сидит у окна
птица. Дыбом серые перья». —
«С перепоею привиделось?» — сказала она.
Я сказал: «Глянь сама, моя пери».
К запотевшему ноябрьскому окну
она подошла, увидела и сказала:
«Это — птица орел». Я взглянул на жену —
в ней глаза были — два вокзала,
проводящих неизвестно зачем, куда
и кого, проводящих два — и точка.
«Может, это решка, а не орел?» Ни да
не услышал, ни нет. Ни одного гудочка.

В выходные

Вечерами решаю «мат в три хода»
(у меня есть сборник задач),
по утрам, в выходные, когда погода
смотрит в окна, слышу безмолвный плач —
она стирает с шахматных фигур пыль,
ставит на место их, справа и слева,
о, взаимообразный штиль
дня... Это «вилка», «вилка» нам, королева!
— Так вот проходит жизнь... — вздыхает. —
Обещал научить играть — не научил... —
Заоконный ветер валы вздымает
и внезапно гаснет, лишившись сил.

Когда метель

Когда метелью дом заносит,
тогда под собеседника
лишь ветер косит,
но как-то бедненько.

Закрыл свой магазин лабазник,
тоскует благоверная,
и вроде праздник,
а грусть безмерная.

Так окна залепляет пряжей,
такие тают таиньки,
что мы пораньше
ложимся баиньки.

Не надо больше зло и цепко
дышать и виться полозом,
а только крепко
спать, мертвым образом.

Флюиды

Дома Лида моя ходит в шерстяных
тапочках по ковру, и у Лиды
накапляется электричество, тронет — вспых
между нами, искры летят. Флюиды.

Даже комната освещается. Может быть
(мой сосед-ученый говорит «может статья»),
подсознательно она хочет меня убить.
Но сознательно — приласкаться.

Иногда сильнейший проходит ток.
Я кричу ей: «Господи, больно, Лида!
Мы ведь жизнь отбываем, а не тюремный срок,
мы ведь два человека, а не болида.

Что за странное, Лида, высекновенье огня!»
Но в ее глазах не злой огонь — неизвестный.
Может статья, она полюбит меня
хочет для оправданья совместной.

Будень

Лида моя одевается и говорит: «Похолодало.
Ты слышишь?» Отвечаю: «Почти».
Говорит: «Я ватник твой залатала.
Похолодало». И потом добавляет: «Учти».

Вся жизнь наша прошла на первом
этаже, близко к холоду и земле.
Вряд ли она была перлом.
Я говорю: «Не забудь брильянтовое кольцо».

Она надевает крупно-зеленые бусы,
боты, шарф, шапку, пальто
и уходит на фабрику. Наши узы
все прочней. По вечерам мы играем в лото.

Как уютно узор на коробке сверкает!
С детства я привязан к бочоночкам дорогим,
а теперь и к Лиде, как она выкликает
номера, один за другим, один за другим.

Охота

Она влетела: «Мышь в столовой!»
Я выпил порцию свою
(о, серенький сюжет, не новый,
расхожий, бездны на краю!

Плутон, своей подземной сворой
зачем наш тихий рай мрачишь?)
и вышел: замерев над шторой,
сидела крошечная мышь.

Лишившись речи, то есть дара,
которым славен человек,
перед ней два перпендикуляра
остановили жизни бег.

Там, под землей, где червь и овощ,
где кость, и уголь, и руда,
она не видела чудовищ,
подобных этим, никогда.

«Как я боюсь мышей!» — вскричало
одно из них, и тут же, челн
наняв, я оттолкнул с причала
подземницу, печали полн.

«Зачем мы все не разминулись? —
я думал. — Не было бы зла...» —
Шумел как мышь, деревья гнулись,
а ночка темная была.

С Лидой

Много мелких дел. С пузырьками идешь ко дну.
Как проходит жизнь, Лида! — в сердцах вздохну.
Что ни шкафчик, откроешь — валится требуха
на голову, избыток вещей, местная «вднх».
Помнишь колхозницу и рабочего? — ее нога
и его открывали коммунистические бега.

Много мелких забегов. В бухгалтерию, в магазин.
Мы оказались хромы, Лида. Где деньги, Зин?
Высоцкий умер тридцать один год назад.
Помнишь рванный, магнитофонный его надсад?
Наши дети в слезах ходили тогда в детсад,
и, пока стояла ночь на дворе, спасал «керосин».

А теперь другая заправка, круговращенье цифр,
шланг уткнулся в бак, подбирает к «лексусу» шифр.
Не такой был лакмус у нас, другая была среда,
мы читали роман о Мастере и Маргарите тогда.
Он о страхе, о трусости, об умывании рук,
потому и любовь там — слащавый недуг.

Автор, думаю, замышлял иначе, да ведь и нам
соответствовать замыслу не удалось, мадам.
Много мелких дел, неотложных, скорых, и тот,
кто звонит «ноль один», набирает не телефон, а счет,
как сказал бы Бродский. Он тоже тогда был чтим.
Что сказать мне о нем? Я восхищаюсь им.

Я скажу тебе, Лида, — ты только слезу утри,
неудобно все же, — что он и еще два-три
украшали пейзаж, пока не украсили навсегда.
Как-никак мы выстояли в грехе. А без них беда.
Я заначил шкалик, он там — да не плачь ты, ну! —
где стоят китайцы На Лей и Вы Пей, пойдём ко дну.

Письма брату

1

Брат, мой подвиг (в кавычках) ратный
кончился до гудка,
раньше я выпивал изрядно,
а теперь — ни глотка.

Раньше мог я сыграть «Собачий
вальс», когда подопью,
и запеть, а теперь иначе —
онемел, не пою.

Брат, с тех пор как не стало сына,
мы с женой ни гу-гу.
Раньше я подходил к «пьянино»,
а теперь не могу.

Скверно то, что я в этом «раньше»
свет забыл погасить...
Нынче в доме у нас тишайше,
приезжай погостить.

2

Одиночество, брат, такое —
иногда гуляю по магазину,
пестрый он, продуктовый,
иногда с тоскою
торможу, забывшись, — то рот разину,
то губа — подковой.

У меня отчаяние — внутри я
непрестанно плачу слезами,
а наружно стараюсь
быть как прибранная витрина.
Но рука на ветру уже не удержит знамя,
это — старость.

А недавно я к дому мчался,
точно пущенный из мортиры, —
не успел, правда, малость,
обмочился,
ах, как пигалица из соседней квартиры
в кулачок смеялась!

Я сдаю позиции, вероятно,
а кому — неизвестно, их-то
вряд ли кто атакует,
кончен ратный
подвиг, брат, затихает под вечер пихта,
пихта тоже тоскует.

Мне хотелось означить
пребывание здесь, но кротки
были силы и сникли рано,
скажут: значит,
отродясь никогда и не было в околотке
никакого Ивана.

После кладбища

Читаю, слышишь, по пути: «Вчерашняя
Раиса Львовна» и «Вчерашний
Григорий Маркович». Пустяшная
ирония, а так — покой всегдашний.
Прошел к родным могилам и прибрал их.
Немного белых положил, немного алых.

Пластмассовые два стаканчика
достал, кусочек хлеба,
ты замечала, что на кладбище
всегда синее небо,
чем в городе? потом налил грамм по сто
себе и фотографии с погоста.

«Сын, — я сказал, — напрасно ты,
неправильно все это, рано,
и потому теперь мы разняты,
незаживающая рана...»
Потом пешком от Невской
заставы шел, а ветер нынче резкий.

Слова сказал без осуждения,
но, кажется, чуть с укоризной.
Смерть превращает день рождения
в трагедию, она зовется жизнью.
Как ты считаешь, Лида? Спишь? Сегодня
мне костью в горле промышление Господне.

Ночью

Я вглядываюсь в шум,
и вслушиваюсь в цвет,
и крон ветвистый ум
вдыхаю. Смерти нет.

Так вспенилась листва
в сегодняшней ночи
всей силой естества,
что смерти нет. Молчи.

Подъем. Подъем и спад.
Спад, и опять подъем.
Чтоб жили те, кто спят
необоримым сном.

Приемный день

Жена поднимается в пять,
еще за окном темно.
У нас так рано вставать
издавна заведено.

Я поднимаюсь в шесть,
тоже не поздний час.
Выпал снег? Так и есть.
Я зажигаю газ.

Вижу: полуодетая у окна
полуспит, и я полусплю,
а потом она
гладит юбку свою.

Не разминешься вдруг —
тесно. Хоть мы года
вместе, но стесняемся друг
друга-то иногда.

Раньше мы голых тел
не стыдились с ней, —
видно, ангел слетел,
который скромней.

Ангел не любит спешить.
Нам этот день с женой
надо усыновить,
чтобы он стал родной.

Блокадная баллада

Жили мы на Шкапина, трое в комнате,
улица вела к вокзалу, вокзал — к стране,
улица промышленная в саже-копоти,
мать, мы с братом, отец на войне.

В память невеликую мою, утлую
врезалось: воронка, мы с соседом моим
смотрим, как откачивают воду мутную,
воду мутную, вдвоем стоим.

После — голод, крошки хлеба не выклянчишь,
трупы сплошь: на тротуаре, на мостовой,
я боюсь покойников, но сердце выключишь —
и живешь как мертвый, но живой.

Штабелями складывали их в загоне
у вокзала нашего, помню, что когда
одного несли — в нем булькала, как в бидоне,
переливалась внутри вода.

Что ужаснее мора многолюдного?
От ранений лучше погибнуть пулевых,
но в сраженье, а не от голода лютого,
от нехватки плодов полевых.

Жили мы на Шкапина, двое в комнате,
мать пристроила брата к добрым людям, след
затерялся надолго в военном грохоте,
а нашелся через тридцать лет.

Животину выпятивши рахитную,
помню, как девчонка плачет, щёки дрожат,
что отец лежит, лежит да под ракитой,
а над ним что вёроны кружат.

Многого не помню, мал я был годами,
к третьему лету войны начал доходить,
тетка Люда съесть меня предлагала маме,
людоедка, что и говорить.

Плач недавно я читал Иеремии
и, когда на это наткнулся, весь притих:
руки мягкосердых женщин детей варили,
чтобы стали пищею для них.

Словом Господа все земное сдобрено,
тех, мол, и наказываю, кого люблю.
Значит, нас любил Господь как-то особенно.
Да, особенно. Вот и терплю.

Проблеск

Просыпаясь, рассвета кайму
вижу, юркая птица сверкает.
Разве можно не верить Тому,
Кто воистину так окрыляет?

Лида, это превыше всего,
я незыблемо счастлив,
узкий луч на стене,
утренняя прохлада,

вот он, белый налив на весу,
тельце мраморное с ведерком
у реки, вот под мышкой несу
книгу «Кортик»,

вот проездом
переблеск в лесу паутинный,
перелесок болотно-тинный,
и лиловый, соседний

холодок, резкий воздух осенний —
вот хрустальный его кубометр,
вот он — с похолоданьем,
в освещенье комет,

вот он, необратимый,
в снег истаивающей лыжной
уходящий, родимый
путь, он к ночи слышной.

Сладок сон, только дай погасить
лампу, отдых блаженный,
хорошо было жить,
совершенно!

Собираясь в последнюю тьму,
говорю: «Принимай, я уложен».
Разве можно не верить Тому,
Кто воистину так безнадежен?

Вечером

Тише становится, тише, тише, —
ни пешехода, небо
гаснет, его угасанье — свыше,
словно бы ангел умер.

Солнце садится, и розовеют
только верхи деревьев.
Если же ангела прах развеют,
выпадет снег под утро.

Техника расставанья

1

Надо отладить технику расставанья,
тянущегося от живота до горла,
где глухонемая птица повествованья
машет крыльями голо.

И когда слетает внезапная птица эта
на кормушку сердца, минуя мозг твой, —
выставляй знак запрета,
отгоняя глухонемую в ее край заморский.

2

Расставанье — окна любви и сетования.
Приглуши песню жалости об одиноком,
чтобы поезд дальнего следования
стал сплошной полосой без окон,

чтобы просто существовал как данность,
не обнаруживая смысла, не жаля.
Стой на полосе отчуждения, отчуждаясь,
пока не скрылись из виду его детали.

Пусть выгорают цвета дорогой палитры
и замолкают всё бережней и безбрежней
шатуны, рычаги, фонари, цилиндры,
дымовые трубы и золотниковые стержни.

Когда собирается вроде тучи
тяжелая мысль, угрожая
припадком падучей,
и гиблого ждет урожая,
когда шевеление ее близко,
и тени выходят из ниши,
и ласточки низко
хлопочут, ныряя под крыши,
я строю привычную оборону
из кавалерии легких
залетных (лишь трону —
взовьются), от горя далеких,
я быстро по дому иду со спичкой,
и вот уже свечи пылают,
и страх мой привычка
лечебной пылью опыляет.

АРКАДИЯ

Жираф

Бесшумно, в тапочках ли бархатных,
из сонных грез воспряв,
он выкроен из клеток шахматных,
рогатый граф.

Он долго пьет, в поклоне свесившись
над лужицей простой,
а после, ломко в небо ввысившись,
стоит. О, стой,

как изваяние балетное,
под синевой творись!
Идея шеи абсолютная
простерлась ввысь.

Нога танцовщика, стоящего
на четырех руках
и тапочкой листву жующего, —
ты есть жираф.

Вдвоем

падает яблоко
следом поодаль
яблоко падает
ночь непогода ль
светится зелено
медленно гаснет
зелено светится
ночь ли ненастит
обняты спрятаны
спят они спят они
спрятаны обняты
первые опыты
там холоднее чем
в доме ничейном
чем холоднее там
тем горячей нам

Бегемот

Горою вплюхнутость сама
в родную жижу,
я весь — не твоего ума,
и Бога вижу
хребтом, клыками, животом,
розово-смурой,
сине-зеленой и притом
стальной шкурой.

Полднемным высвечен лучом
в Господнем доме,
я верх путей Его, о чем
не знаю в дреме,
разлапый корифей рытья
в грязи разливов,
гигант библейского литья,
ревущий: «Иов!»

На курорте

Сначала полунастоящий
и путающийся в плюще,
потом лепечуще летящий,
лепечуще, щебечуще...

Пока Швея, склонясь к лиману,
выводит солнечную вязь,
он принимает жизнь как ванну,
в шезлонге полуразвалясь.

Он смачно яблоко вкушает
и Еву потчует свою,
и змей парит, не искушает,
запущенный в его раю.

С брелком на загорелой шее
сидит, покорное Швее,
бездельничающее щее,
блаженствующее щее.

Анакреонт

Не крикливым выскочкой —
явлен мне поэт
с виноградной кисточкой,
источая свет.

Машет ему лапочкой
над жилищем дым,
и ныряет ласточкой
ласточка над ним.

Воздух человеческий,
что ни шаг, то вдох,
лирик древнегреческий,
босоногий бог.

Виноградной косточкой
ты не поперхнись —
прогуляйся с тросточкой
и домой вернись.

Черепаха

По-юношески, вплавь, изящно —
змея под панцирем-щитом,
вся — выпад зрения разящий,
с прорезанным улыбкой ртом, —

из глуби вод, по восходящей,
из водорослей, проблистав,
выносишься — и зной палящий
объемлет жарко твой состав.

Смотрю, уже единокровен
медлительности, и сполна,
с лихвой мой взгляд к тебе прикован,
когда на троне валуна

меж двух скорлуп ты вроде сердца
ореха грецкого, с лицом
усталым царственного старца,
отягощенного венцом.

С Франциском

Пока передо мною слава
земли: огни костров пастушьих,
или вулканов не погасших
базальтовая лава,

или ресничное свечение —
ребяческие лица в хоре —
росы, и братство плоскогорий,
и рек-сестер реченье, —

пока стрекочет сердце строчки, —
флотилия гусей летящих,
мальков ли филигрань в слепящих
лучах, — я с этой точки,

пока не досмотрю, не сдвинусь, —
парад деревьев вороненых,
и небо звезд неоскверненных,
и всех цветов невинность.

Жонглер перед Марией с младенцем

Подбросить апельсин
в небесну синь,
за ним седьмой, а следом третий,
мозг жизни дольчатый,
кометы рыжих междометий,
ты их невольник, ты невольчатый
любви, — подбросить и ловить,
и ломтик ласки улучшить.

Подбросить апельсин
в небесну синь,
за ним шестой, а следом пятый,
явь непочатая,
младенец вмиг розовопятый
разулыбался, в небо падая
из материнских легких рук,
святого безрассудства друг.

Любовь

Пока эти двое идут,
не помня зачем и куда,
взят первый редут
и дрогнули невода.

Пока воздух светел и пуст,
поодаль, не видящий их
в истерике куст
забился и стих.

Кто жизнь так усердно творит?
Стемнеет снаружи — смотри,
как свет озарит
раковину изнутри.

И будет стоять бастион,
под стрелами молний, в дожде, —
святой Себастьян! —
неведомо где.

Песнь Песней

Всё, что есть на «л»: луч, любовь ли,
лилия ли, лань лесная, —
всё подобно сладостной ловле.
О, лови меня, оттесняя
к той ложбине... А эта стая
вздохов ли, облаков ли
надо мной! Надо мною будь, нарастая,
жарче крови и крепче кровли.

Обними меня! Кедр ливанский
несоизмерим с тобою —
так силен ты. Твоею лаской
не насытиться. Пусть тропюю
зверь крадется, готовясь к бою,
перед самой оглаской, —
твой язык... А теперь огласи трубою
плотский пир с беспощадной пляской.

Творчество

Решимость, равная нелепости —
исчезнуть, чтоб явиться миром:
луна, вращает пальма лопасти
под ветром, точно это мельница,
поэт бежит Гвадалквивиром,
пес метит местность, лучник метится,
летят стрижи, дымятся пропасти, —
виждь, это даром.

Леса, как воины и крепости,
стоят под громовым ударом,
стать львом в оскаленной свирепости,
мечтой, что мается и мечется,
счастливым сном, ночным кошмаром,
в конце концов вочеловечиться, —
зачем? Теперь шагни без робости
и стань простором.

Бессмертие

Вот он выныривает из-
за поворота,
как бы на бис
из-за кулис, —
на лбу накрапом бисер пота, —
он смотрит ввысь —
ликуй: есть пятница, суббота
и воскресенье. Горе, брысь!

Бегут по небу облака
в начале мая,
свежа река,
и жизнь легка,
и это папа мой, — взлетая,
горит строка! —
навстречу — мама молодая.
Они бессмертные пока.

Начало

есть бронза брызг
в лазурь ларца
слизь заперта
глазастый щуп
приплюснут писк
субстрат творца
есть терка рта
радулозуб
кальцит и плеск
мол мел лузги
есть узкий свет
который узк
есть мель и блеск
зажат в тиски
двух стен и след
и слизь моллюск

Возникновение

— Ты кто? — Я мысль. — Куда ты? — Я к тебе. —
Вот уж не звал. — А я из проходящих
без спроса: при еде или ходьбе.
Или во сне. Подобно голытьбе,
непрошенная, — я не для желающих.

— О чем ты? Почерк твой не разберу... —
Я ни о чем. Я есть возникновение.
Так шелковый внезапно на ветру
плеснет флажок на утреннем смотру.
Запомни. — Что? — Прекрасное забвенье.

— А незабвенное забыть? — Забудь. —
Откуда ты? — Я не рождалась. — Если
ты не рождалась, не к чему прильнуть. —
Ты видишь книгу? В ней сокрыта суть.
Читай вот здесь. — Постой, придвину кресло...

Ты где? — Исчезла.

На поводке

Остальное время
гулять с собакой,
глядя, как, ослепительно рея,
летят облака.

Поводок — только повод,
чтоб увидеть в строке,
кто на чьем поводке.
Остановлен ли, крутится ворот?

Так не видит различий
между небом и небом взгляд птичий,
день за днем
пролетающий тем же путем.

На осколок блюда
засмотреться в ручье
и забыть, как вернуться
и зачем.

Слон

Почтальон пыли.
В почтовых сумках
ушей — поле
сражения. В сутках

топота — опыт
слонянья. Трубный
воздет хобот.
Столетия крупный

валун. Ганнибал.
Гималаи. Сон.
Сна сеновал.
Если же вознесен

рассвет и льется
на слоистый склон
с небес слонце,
просыпается слон.

Апрель

Исчезновенья чистый отдых.
Пока глядишь куда-нибудь,
трамвай, аквариум в Господних
руках, подрагивает чуть.

Есть уголки преодолений,
где можно преклонить главу,
и солнца крапчато-олений
узор, упавший на траву,

и есть под шапкой-невидимкой
куста прозрачная весна,
внезапно розовою дымкой
осуществившаяся вся.

Апрельский замысел так тонок,
что крошечных двух черепах
смеющихся везет ребенок
с аквариумом на руках.

ОБЪЕКТЫ

Subway-1

Когда оно вчерне грохочет
и свай мельчит чугунный лес,
сцеплений ржавый черт хохочет,
туннельный бес,

и человек, глотатель пиццы,
сидит меж птицами огней,
и жизни топчутся крупницы
в вагонах дней,

летят победа и обида,
гул поезда в утробе скал
вдруг, выдохнут дутьем Аида,
возник и стал.

И к турникетам с птичьим граем,
как в небо ночи фейерверк,
толпа зернистым урожаем
восходит вверх.

Subway-2

Опаздывающий, в лохмотьях
проклятий, вбегает, капли
пота... «О, ниспошли росу...», —
молитву о братьях
шепчет хасид под вопли
вертящихся на весу

из Гарлема гуттаперчевых,
бродячих, лилово-черных,
зыркающих хитро,
на стойках и поперечинах
вертящихся, сорных
акробатов метро.

Китаец и китаянка
планетоподобными лицами
сближаются, и гремит
бомжа-побирушки жестянка.
Расставив ножища, полиция
родину не посрамит.

Грядки круглоголовые —
то спящие луковки слезные,
то крупные кочаны,
наушниками подкованные,
то грецкие скрупулезные
скорлупы — летят в ночи.

Покачивается в стойле
жующий, в корытце плова
уткнутый, в жиру,
лоснящийся, счастья полный,
а между тем любовную
продолжая игру,

чащобу волос китайца
острым взглядом прочесывая,
подруга стремглав
впивает в чащобу пальцы.
Огни разлетаются осами.
Содрогающийся состав.

«Грядет!» — в упоении
глашатай второго пришествия
окатывает вагон,
и с пеной у рта это пение
несется, безумие чувствуя,
выбегающему вдогон.

Subway-3

Как если бы пронесся ветер,
ребячьим, а скорей — дитячьим
разорванное смехом-плачем
откроется пространство, метр
за метром, и уже танцует сидя негр,
стуча в том-том, божок подземных недр,

качается вагона люлька
(с клюкой калека носом клюй-ка),
рабочий, как из уличного люка, —
из выреза спецовки, дальше клерк —
лицо белее штукатурки, — гулко
мир в сердце чьем-то отзовется, щедр.

Потоп

Лило, лило, и на лиловом
белело белым оловом,
неслось ли облаком,
или овалом фонаря
разбрызганного отражалось,
каблук бежал за каблуком,
зонты ломались, спицами горя,
и все к себе прижалось.

На ветровых сновали дугами,
стекая, стеклоочистители —
все смыть со всеми их недугами,
чтобы явился новый Ной
и все увидели,
как он рифмуется с весной,
с зеленой веткой
и стихшей каплей световой.

И кисть руки, и кисть руки
из рукава белела тоже,
и рябь по рукаву реки
вытягивала вдаль баржа,
вдоль бёрега в домах уютилось,
вдвойне оттаивал из дрожи
гость у камина, дорожа
тем, что причудилось.

Вокзал

Вот некто входит в зал,
пред тем спугнувши птиц,
взлетевших — фьють! — на воздух,
в киоске глянец лиц,

в табло упершись лбом,
студент твердит: «облом...»,
в нем узник опозданья
колотит кулаком,

заплечных мастер дел меж тем
массирует жене заплечье,
а нищий целится в мишень,
но та отводит взгляд от встречи,

и все питаются по кругу —
кафе съедобный бельэтаж,
с газетой, заедая скуку,
клерк ест беляш,

бильярдный шар пломбира в лузу
розетки лег
на счастье карапузу
с болтанкой под сиденьем ног,

обходит полисмен
с незлой собакой зал,
икает неврастен,
ик, ик, он опоздал,

и дел меж тем заплечных мастер,
жены заплечья массажист,
и нищий тот на фоне астр,
и обернувшаяся та мишень на жизнь,

в киоске все пестрит,
вытягивая шею,
играет в лотерею
почтенный кроглодит,

и некто, над толпой
взъяренным мозгом взрыв
свод неба голубой,
уже готовит взрыв.

Анатомия

В паху гостиницы струится писсаро —
дождь вертикальных линий световых
тем ярче, чем темнее ночи дых,
там горлышками вверх устроен бар,
и льдом переливается нутро
бокала, и бросает в жар
большую барышню в луче проезжих фар,
откупори женитьбу Фигаро,

бильярд раскатывает по сукну шары,
прицельный кий, натертый мелом,
снует, и сталкиваются миры,
и в лузы падают всем телом,

кишки зеркальных лифтов вверх и вниз,
то сдвинув, то раздвинув двери,
в окаменелости пошатливой сошлись
в ажурной клетки звери,
замедлился бесшумно и завис,

забиты уши тишиной ковров,
по коридорам бьется сердце в глотке,
в порочной белизне безликих номеров
постелей всеприимных лодки,

и, лакомства любви лакая,
барышник барышни большой сосед
ее под ложечкой сосет,
она ж всю ночь кричит, не умолкая,
вампира яростно алкая,

за окнами струится писсаро,
и в номерах мертво уже,
как будто отравил, яд впрыснув под ребро,
кого-нибудь де Бомарше.

Полет

Жертвенных животных стадо, очередь,
топчутся с писаниями бок ó бок
и толкутся, как у бога в ступе,
скоро в небеса построчно,

как вокруг пчелиной матки рой детей,
вкруг тучной матери галдят —
кто нá плечи к ней лезет, кто с плечей,
и вот уж в небесах летят,

то сгрудятся, молясь в иллюминатор,
покачиваются, как зачинают
чернявых чад, то в креслах спят и спят
и в господе во сне души не чают,

там в вихре вознесенный Илия —
он вскормлен из вороньих клювов сот,
Исайя весть о восседающем в Иерусалиме
над кругом маленьким земли несет,

там все на «и», Иеремия разбивает глиняный
кувшин, и Иезекииль,
там разбегающимся кони клином
его на части рвут и втаптывают в пыль,

всё, всё на «и», и вот сквозь свитки облачные
снижается «аэрофлот», проснетесь
кагал, увидев, выходя из ночи,
как крестик тени на земле смеется.

Больничная палата и цирк

умирая
белой боли палата
мерить море по льду замирая
плаха лунного пола полночные полы халата

Огоньки вкруг елочки,
одетой с иголочки,
прыгают детей собачки,
ждут подарочной подачки,
в очереди в антракте,
в запахе манежа цирк затеян,
из входных дверей, открытых ради
вдоха, воздухом зимы провеян.

сквозь матовую стену в сером
санитары говор
и смешок и перекур и чем-то серным
тянет пациент из первой загляни не помер

Топчутся на снегу они,
гул, огни,
будет вам второе отделение,
ах, какое праздничное отдаление,
если тут, немедля,
приближение: оркестрик грянул,
музыка под куполом ли, свет ли,
взрыв ли разноцветных гранул.

плач безвольный
ни родни кругом чтоб руку
птица-капельница игольный
клюв вонзила в кровь идет по кругу

Выезд — луч — эквилибриста:
быстро, быстро
он бежит, блестя на шаре,
изгибаясь, в воздухе руками шаря,
маг за ним с помощницей на стуле —
простыней накроет, два-три пасса,
сдергивает — никого, надули!
а была живого тела масса.

память из палаты выйдет
перед новым годом
как огонь бенгальский для того кто видит
кто из тех же непостижных блесков родом

Сценический образ

В сахаре сцены раззолоченной, в сахаре,
с улыбкой сахарной, сахарной, в угаре,
сжимая статуэтку в онемелых,
он к славе ластится в лучах болезно-белых.

Рот как в разрезе ананасной дыни,
слюною смоченные семечки зубов,
он сладость зрительских оскаленных забав,
десерт пустыни.

Как этот бред настоян или выделан,
какой наградой буфф увенчан из конверта,
он сон, чей сон не утолен, он идол, он
и жертва, жертва.

Внезапно свет погаснет, ночь займется,
слова то дергая, то искажая в блажи,
и что-то вздрогнет, зазмеится, засмеется,
и поползут миражи.

Из кресел приподнявшись на локтях —
зеваки, и в глазах несметных,
как бы в египетской ладье,
со сцены гроб сплывет в аплодисментах.

Погаснет блеск ладоней перелетных,
истает стая до поры, и в новых бликах
из-за кулис взойдет светило, из бесплотных
теней вернув счастливых солнцеликих.

ИЗ «ВЕЛИМИРОВОЙ КНИГИ»

Песня войны

Твой час! Не медли,
валяй, там включь
рвут ночь метели,
там алч и волч,
там рыск, и выгрыз,
и стыд и срам,
и смерть на вынос,
и смрад, и там,
во тьме кромешной,
у входа в ад,
прикопан спешно
твой кровный брат,
там дел заплечных
мастак незряч,
и молчь навечно,
и фальчь, мой мальч.

и мира

Не озарен
светом резвой зари,
зимой изнурен,
не вылезу из норы.
А то зверей
я не видел в пылу
голода! Иди, зверей.
Остаюсь в углу
медвежьем своем,
в тайной тайге,
где с птичкой вдвоем —
синицей в руке —
осанну спою
зеленому мху
весной, где таю
верность стиху.

С утра, чуть рассвело, я у подножья
цветка увидел крохотный обоз —
карминный с черной крапинкой — то божьей
коровке в насекомый храм брелось.
Чуть вздрагивали иногда надкрылья —
взлететь ли ей на праздничный простор
или вернуть крылатые усилья
обратно в шеститочечный узор?
Цвел колокольчиков тончайший хор.

Кузнечик велимир, как бы калека
с клюками, приготовился лететь,
и усики подъял его коллега,
из листьев мари выглянув на треть.
Полз муравей, неутомимый левин,
плыл мотылек ганс христиан, цветы
целуя и не ведая беды, —
к заутрене, на маленький молебен
во славу их праматери — Воды.

На поле пасся, вдалеке от крова,
конь, и блистало тело вороного,
как черные китайские шелка:
взглянуть — и вмиг зажмуриться, и снова
взглянуть, но так, чтоб дрогнула строка.
Из полевой необозримой шири
я в лес забрел, где чудилось мне
то зинь, то фью, то сип, то цири-цири...
И там остановился в полутьме.

Великое событие оленей
шло меж деревьев, бережно косясь.
Их ласковое пламенное племя
несло рогов изысканную вязь.
За ними шел поэт в пижамной паре
и бормотал сквозь круглые очки
одический рефрен о божьей твари.
День угасал, но вечер был в ударе,
и что ни шаг взрывались светлячки.

Гроза

вяжут ломаные спицы молний
издали и всё неугомонней
в быстрых бога руках
жизнь земную нитяную
электрическое поле
всех шерстистых тварей
на десятую секунды долю
озарится прежде чем ударит молот
и в мельканьях молний
тем молитвенно-безмолвной
мир предстанет
лепета он жизни молит молит

тварей шерстью трущихся в траве
загорающийся глаз
иголкой колк
на крапленной каплею тропе
как янтарь и шелк
шелк и янтарь
грянут фабрики туч грозовых
фабрики парящих льдинок
цапли ломаные спиц
воздуха сквозной пробой
первой пробой освежит
и в небе голубой
мозг извилинами задрожит

Не меч и тать. Мечтать!

Лучится мир: в нем нет лечебниц,
ни смерти, ни чумы предательств,
и ты, летальный вовлеченец,
отныне вечн, без отлагательств.

Нет ни холопов, ни высочеств,
есть равенства священноучасть,
не сбивчивость и брех пророчеств,
но сбывчивость, расчет, могучесть.

Сверкает город электричеств,
и высших чудотворных качеств,
и благ бесчисленных количеств,
и в звездном колпаке чудачеств.

Не чад войны, но многочадость,
и в общем воздухе отечеств
мы празднуем с тобой зачатость
и разум встречных человечеств.

И не плачевность и печальность,
не ночи выморочной нечисть,
нам сестры — речи изначальность
и птичья утренняя певчесть.

На закате

Безрассудному звуку предаться,
речь ручную предать,
чтобы не было чем оправдаться,
блудной зауми зуд оправдать.
Беспризорному псу уподобясь,
жить, привязанность к будке смешна,
как имущества опись.
Кладь ручная, кому ты нужна?
Заглянувший в колодец,
у которого дно — в небесах,
он теперь инородец
здесь, где умствует страх
и с душою легко сторговаться.
От увиденного ни на миг
заглянувшему не оторваться.
Не в обход — напрямик
он прощальные песни заводит —
преизбыток в них жизни такой,
что слепящее медлит еще, не заходит.
Все висит и висит над строкой.

Безумному монарху

К сумасшедшим птицы тянутся.
Мозга нет у малых сих.
Руку им подай — останутся
навсегда в руках твоих.
Ты подобен им, ты весь иной,
посвисти, вверху побыв,
как бы тронув воздух песенный,
поцелуем пригубив.
Сколько вех и мелких вешечек
в роще, щебет и щелчки, —
вместо головы — орешечек,
вместо лапок — щипчики.
Руку с кормом выставь наискось,
бормоча: «лети, лети», —
и слетятся птицы, зная сквозь
ветви верные пути.
А потом и та, что с крыльями,
та, что всех безумней, сир,
унесет тебя усильями
мерных взмахов в райский мир.

Свиток-оратория

1

Строй струнных ми минор —
и пауза
с оглядкой робости.
И взор —
как вдох подветренного паруса —
вдаль, прочь от пропасти

небытия. С оглядкой. Ми
минор и чуткой
свободы шаг.
О, встречный шаг стреми
к неоспоримой вести чудной,
строй струнных! Так!

Из страха смерти ли,
нога за нотой,
из страха нежного тянись,
тебя приветили
рукою дирижерской, ввысь,
ввысь, музыка! Звучи, работай.

2

Утешься! — призываю небеса я
и землю, что слезами дней солима,
в свидетели — утешься! — я, Исаяя,
пророчествую, айя, айя, айя,
утешься, сердце Иерусалима!

Исполнилось! — ни волчья стая,
ни вавилоняна у стен завои
не устрашат отныне! — я, Исая,
пророчествую, айя, айя, айя,
раскаившемуся воздастся вдвое!

Из-под плаща, смотри, ступня босая.
Ты рядом — вот! — стоишь на поле брани,
Ему под ноги ветви пальм бросаю.
Ты, колос, на Его взойдешь дыханьи.
Я голос твой, Исая, айя, айя.

3

Дно долин, дымных утром долин,
переливы и вёсны долин,
кипарисы и сосны долин,
все соцветия вечнозеленых маслин
или красный песчаник, —
да поднимется дно, да возвеселится печальник!

Мох, трава, бельма пней,
дерево, кривизною корней
в землю вросшее, — да возвеселится прохожий
полной грудью воздух вдохнуть! —
да низложатся эти холмы до подножий,
чтоб Идущему выровнять путь.

4

Стаей встрепенется хор.
Слава явится Господня.
Слово яснится сегодня.
Стойкий утренний простор.

Свод небесный, голубой.
Свет слепящий, бестелесный.
Станет плотью свет небесный.
Струнные пласты, гобой.

5

И хор взлетел на крыльях партитур:
сто остроглазых птиц. Одна — слепая.
За ней тянулся, прозревая, хор,
и не истаивала в поднебесье стая.
Как всякий зрячий, боль свою тая
и волю, от которой ближним больно,
вслед за слепой хотел прозреть и я,
и потому прикрыл глаза безвольно.

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗ ПЕРВЫХ ОПЫТОВ

«Ребенок спит, подложив под щеку...».....	5
«Я о тебе молюсь...»	6
«Как ты нелюбишь, как зима черна...»	7
«Бывали дни безмыслия, июль...»	8
«Я с поезда сошел, где он стоял...»	9
«Проще распасться...»	11
«Состарившись в зеленом городке...»	13
«Это игра, говорю тебе, карта, игра...»	14
«Где прошлое, в особенности то...»	15
«Из утра в утро черное валясь...»	16
«Я жил не в эпоху войны...»	18
«Без отечества по существу...»	19
«Если заперты рыбы, прохожий...»	20
Ты — лишь инстинкт переступанья...»	22

ШУМ ЗЕМЛИ

Из первой части.....	24
«На противоположном берегу...»	26
«Когда, проснувшись, к тамбуру спеша...»	27
«...так осенью проехать мимо школы...»	28
«Этой женщины трудные очертанья...»	29
«медлит буксир на реке...»	30
«вроде кладбища...»	31
Из второй части.....	32
«Он о бесплодности чувствовал, о пустоте...»	32
«Куда теперь плыву, так долго шел к разгадке...»	34
«Ляжем, дверь приоткроем...»	35

ВЕРНУТЬСЯ В ЭТОТ ГОРОД

Школьники. Весна

1. «день солнечных томлений...»	36
2. «тонкошеих учениц гуськом...»	36
3. «в бумагу золотистую обернут...»	36
4. «вдруг четырехугольник...»	36

Спящий	
1. «в сон погружаясь крушение...»	37
2. «мальчик как мальчик в романе...»	37
3. «и одеяло подтянет...»	38
4. «сахаром кормят в чулане...»	38
5. «в ступе толченые зерна...»	39
6. «ребра трещат переборок...»	39
Из стихов памяти отца	
1. «Это ты стоишь в прихожей с клюкой...»	41
2. «На скорбном родины развале...»	42
Памяти Лены Соколовой	
1. «Мел ссыпается с досок...»	43
2. «Вот еще один...»	44
«Приближение первого...»	46
«О, ядро с ключицы...»	47
«Вестибюля я школьного...»	48
«Тихим временем мать пролетает...»	50
Бабушка видит мужа	51
«Говорю: вращенье в барабанах...»	53
«Вернуться в этот город? Нет, избавь...»	55
«Над засушливым учебником...»	56
«Квартира окнами на Кировский...»	58
«С кем-то я по каменным ступеням...»	60
«Я вотру декабрьский воздух в кожу...»	61
Разворачивание завтрака	62

НОВЫЕ РИФМЫ

«Тридцать первого утром...»	64
«О, по мне она...»	66
Накануне	68
Шахматный этюд	69
Театр	71
Гольдберг. Вариации	
1. 1955 год	73
2. Отпуск	74
3. Шахматная	75
4. День рождения	76
5. Пятница	77

ЦПКиО	79
Футбол	81
Косноязычная баллада	83
Полиграфмаш.....	84
По Кировскому	86

ДОЛГОТА ДНЯ

«Дай бессмысленного слова нежного...»	87
«Я посвящу тебе лестниц волчки...»	88
«Озера грудной разрыв...».....	89
«Тому семнадцать, как хожу кругами...»	90
«Трезвые наступают дни...»	91
«В бронхах это хрипит Бронкса...».....	92
Утренний мотив.....	93
«На что мой взгляд ни упадет...»	94
Шахматы	95
Эмигрантское	98
«Я жил в чужих домах неприбранных...»	100
Партитура Бронкса	102
Баллада по уходу	104
Одиночество в Покипси.....	106
«Увижу библию песка до горизонта...»	108
Вспоминая Пастернака	110
Мария Магдалина	111
Вариант Медеи	113
Романс	115
Ходасевич	117
На весах.....	118
В поезде	120
В блокнот.....	122
Обход с Достоевским	123
Заболоцкий в «Овощном».....	125

ГРИЦОВ

Любовь.....	127
Выходной.....	128
На уроке.....	129
Библейский сон.....	130
Первое свидание.....	131

Грифцов прогулочный	
1. «Кто этот винодел, который свел...»	132
2. «Надо где-то рядом погулять...»	132
Два возвращения.....	134
Семь плюс один	135
Живые картины	
1. «...в маленькой зиме...».....	136
2. «Выхватыватель жизнестрок!..»	136
3. «В вечернем воздухе завис...».....	137
Грифцов-Орфей.....	138
Грифцов и Вторая книга Царств	
1. «Болен твой брат, сестра...».....	139
2. «Глаза закрою — и реву...».....	140
3. «Стали позором, брат...».....	140
Грифцов и Беккет	
1. «Вас, беккетовских двух, прижатых...»	142
2. «Пойдем? Я приготовился.. — О господи...»	142
Весна	144

ИЗ РАЗНЫХ КНИГ

По-весть.....	145
Этюд	148
Козлиная песнь	150
Письмо Гоголя	152
Посещение	154
Перед отлетом	155

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС

Матвеева, Зотикова и Антон.....	156
Серебряков	158
Белова.....	159
Александр.....	160
Шарманка (1).....	161
Иван Иванович.....	162
Матвеев	164
Тарховка (А).....	165
Веранда бытия (а).....	166
Классная баллада.....	167

Шарманка (2).....	169
Первое сентября	170
Философия I	172
Историчка	173
Лирическое отступление	175
Цикада.....	176
Шарманка (3).....	177
Вечер	178
Ночь	179
Тарховка (В)	180
Процесс	181
Шарманка (4).....	182
Урок русского/литературы	183
На дачу	184
Рябинкова и Антон.....	185
Веранда бытия (б)	187
Под Новый год	188
Шарманка (5).....	190
После школы.....	191
Пение и рисование	192
Времена года	194
Импровизация	196
Философия II.....	198
Шарманка (6).....	199

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

На юге	200
Ночь	201
Прогулка	202
«В пехотный холод снаряжайся...»	203
На фоне города	204
Толстой.....	205
Покупка	209
Начало зимы	210
«Случается, днем переулочным...»	211
Памяти Льва Дановского	212
«Женщина смотрит на беглые очертанья...».....	213
«Мы остались на поверхности земли...».....	215
«Возьмите летящего вдоль воробья...».....	216

Астролябия жизни.....	217
Ода одуванчику.....	219
Начало.....	221
В голове у голубя.....	223
Я более люблю.....	224
Исчезновение.....	225

ЛАДЕЙНЫЙ ЭНДШПИЛЬ

Событие жизни.....	226
Тень.....	227
Мгновенный снимок.....	228
Бинокль.....	229
Фотография.....	230
Старик.....	231
Слово.....	232
Стрижка.....	233
Завтрак.....	234
На пороге.....	235
Тост.....	236
Сон.....	237
Ночь на 3 апреля 2009 года.....	238
С похорон.....	240
Исток.....	241
Дитя возле пекарни.....	242
Родители на закате дня.....	244
Стоп-кадр.....	245
Ковчег.....	246
Ночные вещи	
1. «На красном стуле, возле...».....	247
2. «Выгляни — снегоуборочный...».....	247
3. «Вот в счастливейшем он позднем детстве...».....	248
4. «зеленого лука с бородкой пучок...».....	248
5. «Вероятность родиться собой...».....	249

ЧИТАЮЩИЙ РАСПИСАНИЕ

День ноябрьский.....	250
По досточке.....	251
Бывает, снег идет.....	252

Жена.....	253
В паре.....	254
Диктант.....	255
Забыватьё.....	256
В поздний час.....	257
Оборона.....	258
Орёл.....	259
В выходные.....	260
Когда метель.....	261
Флюиды.....	262
Будень.....	263
Охота.....	264
С Лидой.....	265
Письма брату	
1. «Брат, мой подвиг (в кавычках) рат...».....	267
2. «Одиночество, брат, такое...».....	267
После кладбища.....	269
Ночью.....	270
Приемный день.....	271
Блокадная баллада.....	272
Проблеск.....	274
Вечером.....	276
Техника расставанья	
1. «Надо отладить технику расставанья...».....	277
2. «Расставанье — окна любви и сетования...».....	277
3. «Когда собирается вrede тучи...».....	278

АРКАДИЯ

Жираф.....	279
Вдвоем.....	280
Бегемот.....	281
На курорте.....	282
Анакреонт.....	283
Черепаша.....	284
С Франциском.....	285
Жонглер перед Марией с младенцем.....	286
Любовь.....	287
Песнь Песней.....	288
Творчество.....	289

Бессмертие.....	290
Начало	291
Возникновение.....	292
На поводке	293
Слон	294
Апрель	295

ОБЪЕКТЫ

Subway-1.....	296
Subway-2.....	297
Subway-3.....	299
Потоп	300
Вокзал.....	301
Анатомия	303
Полет.....	305
Больничная палата и цирк.....	306
Сценический образ.....	308

ИЗ «ВЕЛИМИРОВОЙ КНИГИ»

Песня войны	309
и мира.....	310
С утра, чуть рассвело, я у подножья	311
Гроза.....	313
Не меч и тать. Мечтать!.....	314
На закате.....	315
Безумному монарху	316
Свиток-оратория	
1. «Строй струнных ми минор...».....	317
2. «Утешься! — призываю небеса я.....	317
3. «Дно долин, дымных утром долин,	318
4. «Стаей встрепенется хор.....	318
5. «И хор взлетел на крыльях партитур:	319

Літературно-художнє видання
СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»
Заснована в 2023 році

**Владимир
ГАНДЕЛЬСМАН**

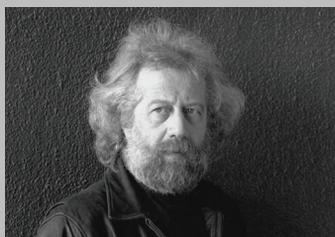
ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
И ПРОЧАЯ МУЗЫКА
(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка
Друкарський двір Олега Федорова
Формат 60x84 1/16. Наклад 200 прим. Зам. № 5619
Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 20,5
Гарнітура «Cambria». Підписано до друку 29.10.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,
«Друкарський двір Олега Федорова»
Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,
e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»
Адреса: 07400, Київська обл.,
м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



Владимир Аркадьевич Гандельсман родился в 1948 г. в Ленинграде, закончил электротехнический вуз, работал кочегаром, сторожем, гидом, грузчиком и т.д. С 1991 года живет в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге — поэт и переводчик, автор более чем двадцати поэтических книг («Шум Земли» — «Эрмитаж», США, 1991; «Вечерней почтой» — «Феникс», СПб., 1995; «Долгота дня» — «Пушкинский фонд», СПб., 1998; «Эдип» — «Абель», СПб., 1998 и т.д.), двух книг эссе, переводов с английского (Шекспир, Кэрролл, Оден, Меррилл, Уилбер, Стивенс и т. д.) и с литовского (Томас Венцлова), а также многочисленных журнальных публикаций.



**ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА**

